

# Тайна мертвой царевны

**Автор:**

[Елена Арсеньева](#)

Тайна мертвой царевны

Елена Арсеньевна Арсеньева

Анастасия #1

Хотела кричать от ужаса, забиться в уголок, умереть – но что она могла сделать, совсем еще девчонка, если даже взрослые коронованные монархи опускали руки от бессилия. Всего за несколько дней весь ее уютный мир изменился до неузнаваемости. Толпа, которая совсем недавно с радостью и почтением приветствовала ее семью, теперь осыпала их площадной бранью, вслед им неслись проклятия и пошлые фривольные намеки. Но надо быть выше всего этого, она ведь Великая княжна, дочь Императора и Самодержца Всероссийского. И неважно, что отца вынудили отречься от престола, и неважно, что им пришлось отправиться в ссылку в далекий Екатеринбург. Не стоит обращать внимание на пьяную солдатню и матросов, ведь ее имя – Анастасия – означает «Воскресшая».

Елена Арсеньева

Тайна мертвой царевны

Никто никогда не узнает, что мы сделали с ними.

П. Л. Войков, член Уральского губернского совета, 1918 год

От автора

Судьба детей последнего русского императора всегда будет порождать множество догадок и домыслов хотя бы потому, что слишком велика в нас вера в чудо, в надежду на спасение невинно пострадавших девушек и их младшего брата. Именно поэтому так много появлялось людей, с большим или меньшим успехом выдававших себя то за одного, то за другого. Исследователи и историки до сих пор спорят – и никогда, похоже, не придут к единому мнению! – была ли хотя бы крупница правды в словах этих самозванцев и самозванок.

Кому-то кажется странным, что самой популярной оказалась среди самозванок личность великой княжны Анастасии Николаевны. На самом деле для этого есть как минимум две причины: явная подтасовка фактов во время поисков останков семьи императора и факт бегства Анастасии... то ли из подвала дома Ипатьева в Екатеринбурге, то ли, по другим документам, из подвала дома Берзина в Перми.

Среди множества женщин, выдававших себя за великую княжну Анастасию Николаевну, особенное внимание привлекают три. Это Наталья Билиходзе, Анна Андерсон и Надежда Иванова-Васильева. Эти книги – попытки исследовать их судьбы, рассказать о том известном и неизвестном, что так волнует воображение людей, преисполненных сочувствия к юной великой княжне и горячей веры в воскресение «мертвой царевны».

Книга первая. Ночная серенада

Memento mori![1 - Помни о смерти! (лат.) Здесь и далее примеч. авт.]

Дверь не открывалась. Ната шарила, шарила по ней в темноте, толкала что было сил, тупо удивляясь, почему прилипают ладони к ободранной обшивке. Внезапно она наткнулась на какую-то холодную металлическую загогулину и не сразу осознала, что это дверная ручка, за которую надо взяться и потянуть.

И дверь легко открылась. Сразу ударил в лицо свирепый ветер, протащивший колючую пыль с Марсова поля по всей набережной реки Фонтанки, и стало

светло.

Ната застыла в проеме, схватившись за косяк, жадно дыша этой стужей, этой пылью, тупо глядя на набережную и стараясь унять дрожь в ногах. Надо бежать, она это отлично понимала: надо бежать! – однако ноги не слушались. Каким-то чудом, Божьим промыслом, не иначе, удалось выбраться из Верочкиной квартиры. Теперь еще бы помог Господь добежать до дому, спрятаться так, чтобы не нашли!

На лбу выступил холодный пот. Ната с усилием оторвала руку от косяка и удивилась: откуда взялись красные перчатки и почему они такие липкие? Внезапно вспыхнуло давнее воспоминание: их семья в театре, девочкам дают шоколад, все сестры снимают свои длинные перчатки, чтобы их не испачкать, а Ната нетерпеливо хватает плитку, которая тает в руках. Перехватив укоряющий взгляд жены английского посланника из ложи напротив, смотрит на свои руки. Белые перчатки все в липких шоколадных пятнах...

Те перчатки были белые, а эти красные. И тотчас Ната обмерла от догадки: да ведь это не перчатки, а кровь!

Верочкина кровь.

Мертвой Верочки.

Убитой...

А кто ее убил? Кто?

Неужели... она, она сама?!

Но нет, она не делала этого. Или сделала, но не помнит, как это произошло? В памяти словно бы смазалось все с того мгновения, когда...

Когда – что?

Она не помнила и этого.

Ната торопливо начала вытирать окровавленные руки о юбку, радуясь, что на черном сукне красного не видно, но тут же заметила, что подол намок и потемнел от крови.

Вспыхнуло воспоминание, как стояла на коленях в темной прихожей и старательно тащила из Верочкиной груди широкий мясницкий нож, разворотивший там, под сердцем, все так ужасно, что Ната едва не лишилась чувств, когда эту рану увидела мельком, а потом свечка выпала из руки, покатила по полу, погасла, и стало совсем темно. Теперь Верочка лежала на полу, а Ната тащила нож на ощупь, тащила...

Зачем? И куда она его дела потом, этот нож? Спрятала? Где?

Вдруг за спиной прошелестели шаги – такие легкие, что Ната даже не услышала их – почувствовала всем своим перепуганным, напряженным, натянутым, как струна, существом.

Надо было обернуться, но стало страшно, невыносимо страшно.

А вдруг Верочка поднялась и, придерживая края кровавой раны под сердцем, пустилась ее преследовать? Свою убийцу, бывшую подругу, которая Верочке стольким обязана!

Оглянуться?

Нет!

Ната рванулась вперед, навстречу ветру, но тотчас ударилась всем телом в какую-то преграду.

Вскинула глаза – это был человек, показавшийся ужасно, неправдоподобно высоким.

– Пустите! – взвизгнула Ната, отпрянув от широкой груди незнакомца. – Пустите!

– Извольте, мадемуазель, – удивленно пробормотал тот, посторонившись с полупоклоном, и в это мгновение сзади, на лестнице, завопили:

– Ах! Ой! Да что же это?! Держи ее! Лови ее!

...Верочка рассказывала: на милиционеров, сменивших полицейских, теперь у людей надежды не осталось – когда еще раскачаются да явятся туда, где кого-то убили или ограбили! – к тому же в милиции нынешней те же большевики, то есть воры да разбойники, поэтому при больших домах завели свою охрану. Сами жильцы выходили отгонять жадных до чужого добра налетчиков, а если те попадались, доходило и до самосуда.

Вот сейчас ее схватят, увидят эти окровавленные руки, потом найдут Верочку – и все, Нату вздернут на первом же фонаре, а то и забьют до смерти.

Да и если милиция прибудет, все равно расстреляют. Бросят к стене, встанут напротив бабы с винтовками – расстреливали раньше матросы и латыши, затем китайцы, а в последнее время женщины, даже во главе «чрезвычайки» стояла женщина по фамилии Равич! – и пли!..

«Это еще ничего, – ожгла мысль. – Куда хуже, если все-таки в чеку сдадут, а там дознаются, кто ты есть!»

Ната проскочила мимо незнакомца и пустилась вперед со всех ног. Так быстро она бежала только однажды – там, за Камой, в сентябрьском лесу, продираясь сквозь частокол деревьев, бежала, вся усыпанная мелким золотым березовым дождем, а ее ждал Иванов. Схватил за руку, заглянул в глаза своими черными глазами – и сразу стало легче, удалось перевести дыхание, вникнуть в смысл его слов. А потом они побежали вместе, и она уже не боялась упасть, потому что он был рядом.

Ах, если бы и сейчас он был здесь...

«Спасите меня, господин Иванов!» – мысленно крикнула Ната.

И ее словно толкнул кто-то: повернула голову, увидела за выступом стены низкую арку, – и не раздумывая метнулась туда.

С разбегу заскользила по какой-то грязи, налетела на стену, ударилась лицом, тихо ахнула от боли – но тут же замерла, онемела. Вовремя: мимо тяжело

прогрохотали чьи-то шаги – вроде бы двух мужчин.

Ната огляделась. Во внутренний дворик-колодец выходили двери черных лестниц. Парадные сейчас почти все позаколочены... ну а вдруг повезет? Вдруг одно окажется открытым, как в Верочкином доме?

Верочка...

Иванов вдруг оказался рядом, сердито прищурился, взглянув Нате в глаза...

Он прав. Не думать, не вспоминать! Сейчас надо спасаться!

Ната кинулась наугад в какую-то дверь, не помня себя, пролетела темным помещением – парадное было распахнуто! И, словно по заказу, табличка на фасаде оказалась не сбитой. «Казачий переулок», – прочитала она, не веря своему счастью. Теперь вон туда, на Загородный проспект, а там совсем близко до Разъезжей, угол Николаевской. Дальше Ната знала дорогу.

Как же удачно, что Петр Константинович несколько дней назад перебрался сюда из того огромного дома на Кирочной, где жили раньше! До Кирочной еще далеко, а Разъезжая почти рядом.

Ната приостановилась, шмыгая носом, тяжело дыша. Сильно же она ушиблась – даже кровь пошла. Теперь нескоро остановится. Когда им с Машкой удаляли гланды, такое у обеих было кровотечение, что доктора до смерти перепугались. И мама тоже...

Руки в крови, подол, теперь и лицо. Не дай бог, попадет кто-нибудь навстречу...

Но вокруг пусто, вокруг пустынно. Это сначала пугало Нату в Петрограде, теперь же она благословила это безлюдье. Ах, как медленно истекает день! Вот если бы стало уже темно! Уличного освещения не осталось и в помине, даже керосинового, и электрические фонари на главных улицах стояли с разбитыми стеклами. Впрочем, электричества все равно не бывало почти сутками.

Теперь это было бы на руку Нате. Но еще светло.

Затаиться, дожждаться, пока стемнеет? Нет, ее может кто-нибудь увидеть. Испугается, поднимет крик, созовет людей. Надо бежать!

Ната уткнулась носом в плечо и спрятала окровавленные руки в широченные рукава «малахая», как назвала это одеяние Верочка, напяливая его на подругу и нараспев декламируя:

Тут Иван с печи слезает,

Малахай свой надевает,

Хлеб за пазуху кладет,

Караул держать идет!

- Это Пушкин? - наивно спросила Ната.

- Тебя послушать, так все стихи в мире Пушкин написал, - засмеялась Верочка. - Но нет, это Ершов - «Конек-горбунок».

А потом...

Нет, не надо!

Ната полетела вперед, то и дело оглядываясь. К счастью, погони не слышно и не видно.

Ната ускорила шаги. Улицы, переулки, проходные дворы распахивались перед ней, словно в той книжке-раскладушке «Кто построил Санкт-Петербург», которую когда-то с упоением рассматривали они с Машкой. Книжка была потрепанная, подклеенная, очень в их семье уважаемая. Ее подарили отцу, когда он был еще мальчиком, потом книжку читали старшие сестры, затем - все младшие: она сама, Машка и брат...

Ната почувствовала, что лицу стало очень холодно. Ах да, она плачет.

Больше всего на свете хотелось остановиться и зареветь во весь голос, размазывая слезы и кровь по лицу.

Впрочем, так плакать она еще в детстве отучилась. А сейчас еще и некогда.

Слава богу, вот уже Разъезжая, вот уже и дом, где ее ждет Петр Константинович!

Убогое парадное, грязная лестница, пляшущая под ногами, обшарпанная дверь, которая почему-то плывет то вверх, то вниз.

Ната ударила в нее обоими кулаками.

- Кто там? - тотчас раздался настороженный шепот.

- Откройте, - прохрипела Ната, с усилием сглатывая кровь, - откройте скорей!

Дверь распахнулась, навстречу выплыли из темноты два бледных пятна - вроде бы чьи-то лица.

- Ната, о господи... Что с тобой?! - возопило одно пятно женским голосом, но тут же замолкло, словно подавилось криком.

Другое пятно приблизилось. У него оказались сильные руки, которые схватили Нату, втащили в квартиру. За спиной захлопнулась дверь. Потом пятно спросило голосом Петра Константиновича:

- Что случилось?

- Верочка... - выдавила Ната. - Верочку убили... я ее убила...

- За тобой гонятся? - резко спросило пятно.

- Нет, нет, - прохрипела Ната. - Никого там нет...

И это было все, что она оказалась способна произнести. Что-то тяжелое, непроглядное внезапно накрыло ее, ноги подкосились, и она с облегчением рухнула в мягкую тьму беспомощности.

\* \* \*

«Смертная казнь Николая Второго и отправка его семьи из Александровского дворца в Петропавловскую крепость или Кронштадт – вот яростные, иногда исступленные требования сотен всяческих делегаций, депутатий и резолюций, являвшихся и предъявлявших их Временному правительству...»[2 - Из воспоминаний А.Ф. Керенского, министра-председателя Временного правительства России в 1917 г.]

\* \* \*

Поезд пришел в Петроград сразу после полудня. Дунаев вышел на набережную Обводного канала. Он так и не решил, куда пойти с поезда. Домой, на Васильевский, явиться он не отважился. Хоть и отрастил бороду с усами, а голову, наоборот, теперь наголо брил, а все-таки там его слишком многие помнили. Уж наверняка бы кто-нибудь из бывших соседей да признал бы судебного следователя Виктора Юлиановича Дунаева в человеке с документами на имя Дунаева Леонтия Петровича. Впрочем, может, и признавать-то уже некому... И все же он предпочел не навещать родные места.

Новые имя и отчество он зазубрил, как в свое время зазубривал Законы Двенадцати Таблиц[3 - Один из юридических обычаев Древнего Рима, источник римского права.] на юридическом факультете, и радовался, что хотя бы фамилия совпала. Дунаев пошел пешком. По рассказам вагонных попутчиков он уже знал, что немногочисленные в городе трамваи всегда переполнены, люди, случается, гроздьями висят на подножках. Иногда обшарпанные вагончики замирают на путях: электричество в городе включают и выключают по непонятно чьей вольной воле. Порою трамваи останавливаются патрулями, которые затевают проверку документов. Кто-то из пассажиров бросается наутек, вслед гремят выстрелы... Нет уж, лучше от этих ловушек держаться подальше, тем более что до набережной реки Фонтанки было, в общем-то, рукой подать.

Город опустел отчаянно. Извозчиков не встретишь. Дунаев перестал этому удивляться, заметив, как в проулке несколько женщин старательно кромсали ножами палую лошадь, отгоняя тощих, оголодавших собак. Автомобилей почти не видно, только изредка мелькнет грузовик с матросами или чекистами, оцетинившими борта винтовками со штыками. По счастью, рокот моторов был слышен на притихших улицах издалека, и Дунаев успевал шмыгнуть в

подворотню или открытое парадное. Привык стеречься «товарищей», хотя мог бы не прятаться: его новые документы были вполне надежными. Получил он их всего неделю назад в Ревеле[4 - Так назывался Таллинн до 1919 года.], на одной конспиративной квартире, которая помещалась в грязном дворике, в кривом переулке. Настоящий членский билет, выданный ЦК эстонской коммунистической партии товарищу Дунаеву Леонтию Петровичу, стоил тех бешеных денег, которые были за него уплачены. «Да здравствуют предатели!» – с горькой иронией думал Дунаев, всматриваясь в лицо человека, который вручил ему драгоценный документ. По виду тот напоминал интеллигентного рабочего-мастерового и был совершенно лишен классических примет предателя: ни тебе бегающих глазок, ни подленькой усмешки, ни дрожащих от жадности рук... Впрочем, на того, кто охотно предавал своих товарищей по партии большевиков, Дунаев готов был смотреть без всякого упрека, даже с симпатией.

К членскому билету присовокуплены были разнообразные бумажки с печатями. Благодаря им он раздобыл билет на поезд до Петрограда и вообще-то мог бы даже предъявлять их патрулю на здешних улицах, но слишком многое он на этих улицах повидал, прежде чем смог бежать из города весной 17-го, чтобы чувствовать себя здесь спокойно. Поэтому предпочитал избегать проверок.

Дунаеву казалось, что он идет по заброшенному кладбищу, населенному привидениями. И дело было не только в том, что прохожие были необычайно худы, бледны и оборваны. Дело было прежде всего в том, что на каждом шагу перед Дунаевым возникали призраки тех страшных дней, которые он не смог забыть ни в армии Корнилова, куда бежал из Петрограда, ни в своих последующих скитаниях.

Среди прочего Дунаев вспомнил, как в феврале 17-го, почуяв «свежий ветер революции» – тогда многие упоенно фрондировали, идиоты! – он купил красную ленту и, завязав бант, прикрепил его на двери. Спустя два дня на его глазах убили на улице какую-то девушку. Революционные матросы, это зверье с жадными лицами и голыми обветренными шеями, промчались на грузовике, поливая из установленного в кузове «максима» городские улицы и прохожих. Девушка лежала в снегу, маленькая шапочка свалилась с головы, светлые косы разметались, и одна из них была оплетена красной лентой – почти такой же, какую повесил на своей двери Дунаев, только потемней. И эта лента странно удлинялась. Дунаев смотрел, смотрел, пока не понял, что это кровь.

Он вернулся домой, сорвал ленту и сжег ее в кухонной печи. С тех пор вся его фрондерская дурь иссякла, он понял, что надо или встать на защиту того, что раньше даже они, судебные следователи, называли сквозь зубы «прогнившим режимом», или стреляться.

Случались дни, когда Дунаев жалел, что не застрелился...

Все изменилось в стране мгновенно – 23 февраля 17-го года. Только что, ну вот буквально еще вчера через сверкающие двери ресторанов текла нескончаемая река женщин в мехах и бриллиантах, мужчин в сверкающих мундирах, мелькали под электрическими фонарями лимузины, чьи клаксоны издавали пронзительно-жизнерадостные звуки, гремели на всех улицах колокола многочисленных церквей... правда, витрины ломились от цветов, дамских корсетов, изящных туфель, париков и дорогих тканей, а не от продуктов, ибо три года шла война... но вот уже засвистел по опустевшим улицам ветер, затаились по домам люди, опустели церкви с обгаренными кровью ступенями.

На этих ступенях убивали полицейских.

Дунаева спас сосед, от сына которого он некоторое время назад отвел несправедливое обвинение в растрате. Ворвался – лицо белое, глаза незрячие от ужаса:

– Уходите, Владимир Юлианович, уходите, бога ради! Только что на углу забили полицейского, я сам видел, как женщины его голыми руками рвали на части. Я читал про Французскую революцию, думал, врут про «вязальщиц»[5 - Имеются в виду ремесленницы времен Французской революции, которые с вязанием в руках (они вязали на продажу чулки или шали) присутствовали в качестве зрительниц на заседаниях Конвента, Революционного трибунала и на казнях, ввязывая в свое рукоделье волосы жертв или пропитывая изделия их кровью. Отличались непримиримой жесткостью и часто оказывали влияние на судей, угрожая им расправой.]... – Сглотнул нервно: – Спасайтесь, голубчик!

И исчез.

Больше Дунаев его не видел, и в квартиру свою, из которой выпрыгнул через окно, едва успев одеться и схватить кое-какие деньги, с тех пор не возвращался.

На улицах воцарился ад кромешный. Ошеломленный происходящим, Дунаев бежал к Окружному суду, на Литейный, но здание уже горело, из окон Дворца правосудия летели документы, картотеки, обрывки изорванных судебных дел – словно листья диковинного могучего дерева, подрубленного под корень. Вместе с ценнейшими сведениями о преступниках сгорели и ценнейшие архивы екатерининских времен. Из прилегающей к Дворцу правосудия тюрьмы предварительного заключения выпустили всех ожидавших суда, ну они и резвились вовсю.

Сосед не соврал: с полицейскими расправлялись с жуткой безжалостностью. Их закалывали штыками, забивали дубинками, топили в Неве.

Кругом гремели выстрелы, падали убитые и раненые. Оружие тогда раздавали всякому-каждому, многие не умели с ним обращаться, и их немало не беспокоило, куда направлен ствол их пистолета, когда они на ходу обучались стрельбе.

Одна пуля угодила Дунаеву в правое плечо, и неведомо, что бы с ним тогда случилось, если бы его не втащил в подворотню случайно оказавшийся поблизости Кира Инзаев – старинный приятель, еще по юридическому факультету, – и не поволок за собой, тяжело прихрамывая.

Дунаев не мог потом вспомнить, как они добрались живыми до дому Инзаевых! У Киры была болезнь Литта[6 - Так в описываемое время назывался церебральный паралич.]: он ходил враскоряку, нелепо вихляясь худым нескладным телом, но ум имел проворный и прихотливый, а еще – талантливое перо. Дунаев раньше иногда пересказывал ему затейливые случаи из своей практики, и Кира описывал их, иногда размещая в бульварных газетах под псевдонимом Кин (от первых букв его имени и фамилии) и мечтая издать книгу.

Дунаев в свое время был увлечен Верочкой: очаровательной, миниатюрной, изящной, словно бы выточенной из розового мрамора кузиной Киры, воспитанной после смерти ее родителей в его семье, – хоть и понимал, что никогда не придется здесь ко двору. Инзаевы были богаты, с хорошей дворянской родословной. Валерьян Павлович, Верочкин дядюшка, принадлежал к числу близких друзей Петра Аркадьевича Столыпина, был – благодаря этому – вхож и во дворец, так что Дунаев не удивился, узнав однажды, что и Верочка сделалась дружна со старшими великими княжнами, и дружба эта еще окрепла после гибели Столыпина. Известно было, что и император, и государыня не

противились встречам своих дочерей с девушками из хороших семей, полагая, что великие княжны не должны сидеть в своих хрустальных башнях, им не повредит больше узнать о народе (так это называлось в императорской семье).

Их высочества Ольга и Татьяна Николаевны приятельствовали с молоденькой фрейлиной государыни – Маргаритой Хитрово, которую звали просто Риткой, но самой близкой для Ольги стала именно Верочка Инзаева – тоже музыкантша, тоже романтическая натура. Девочки из семей Корнаковых, Вивальди, Павелецких близко сошлись с младшими дочерьми императора.

Верочка, изумленно тараща глаза, рассказывала дома, что великие княжны постоянно рукодельничают, через день сами протирают полы в своих комнатах, а в Ливадии даже работают в саду!

Верочке это казалось ужасной нелепицей: она была отчаянная белоручка и неряха – из тех, что без горничной глаза утром открыть ленятся, – зато такая веселая, разговорчивая, очаровательная, что ей все прощалось. А уж кавалеров у нее было такое множество, как ни у кого из ее подруг! Кавалеры, само собой, тоже принадлежали к «обществу», как тогда говорили.

Общество это, впрочем, было не только светским, но и богемным: художники, музыканты, литераторы. Несколько раз у Инзаевых появлялись и старшие дочери императора, чтобы этой богемой полюбоваться.

Дунаев же ни к «обществу», ни к богеме не принадлежал и на такие собрания не приглашался. Да и пригласили бы – не пошел бы.

«Гордый разночинец» (так прозвал приятеля ироничный и остроязыкий Кира), Дунаев решил, что ему в семействе этих прислужников самодержавия делать совершенно нечего, и отдалился от Инзаевых. Но вот теперь случайно встреченный Кира, ничего не спрашивая, привел, вернее, притащил его, бывшего в полусознании, истекавшего кровью, в тот самый дом на набережной реки Фонтанки, оттуда Дунаев когда-то ушел, страшно гордясь своей классовой непримиримостью. Теперь ему было не до нее... У Инзаевых он и пересидел самые опасные дни, быстро залечив свою, к счастью, нетяжелую рану.

С изумлением Дунаев обнаружил, что о Верочке судил во многом ошибочно. Оказывается, она была в него влюблена и после его исчезновения захотела

измениться, стать подобной Дунаеву. Ее познакомили со студентами-медиками, сплошь материалистами и марксистами, и она приглашала их к себе, не считаясь с запретами дядюшки, который, впрочем, слишком сильно ее любил, чтобы хоть что-то запрещать всерьез. Верочка надеялась, что однажды Дунаев узнает о том, какой прогрессивной, какой свободолюбивой она сделалась, и вернется к ней.

Великая княжна Ольга Николаевна по-прежнему здесь бывала. Она даже всерьез увлеклась одним из Верочкиных приятелей – Владимиром Топорковым, бывшим в родстве с князем Путятиным и, так сказать, сидевшим меж двух стульев: «обществом» и «народом». Владимир уверял, что видит в Ольге не дочь императора, а «женщину-товарища», звал ехать с собой в Сибирь, где собирался лечить простых людей после окончания медицинского факультета. Однако как только повеяли леденящие душу февральские ветры, он исчез. Впрочем, и прочие молодые «марксисты» больше не посещали Инзаевых. Знакомство с семьей известных монархистов стало нежелательным в нынешние времена...

Почувствовав себя лучше и залечив рану, Дунаев начал выбираться на притихшие улицы, пытаясь найти бывших сослуживцев и понять, что собирается Временное правительство делать с разрушенной судебной системой, и собирается ли вообще что-нибудь делать.

Полиция теперь звалась милицией, она работала под приглядом Советов рабочих и солдатских депутатов. Бывших судейских, впрочем, теперь не трогали – наоборот, даже зазывали на службу новой власти! Дунаев почти решил предложить свои услуги, но тут грянуло отречение государя, царскую семью арестовали и содержали в Царском Селе, а Инзаев начал поговаривать о немедленном отъезде за границу, ибо в сошедшей с ума России ничего не наладится, как не сможет ничего наладиться у человека, отсекающего у самого себя главу! Отсечением главы он называл уничтожение монаршей власти.

Кира с отцом соглашался, тоже твердил, что надо уезжать, а Верочка об этом и слышать не хотела. Больше всего потому, что пришлось бы оставить Дунаева. У них с Дунаевым ожил прежний роман, с новым, впрочем, пылом, и отношения их (эта огромная квартира была словно бы создана для хранения ночных тайн, в том числе альковных!) давно превзошли все то, что происходило между ними раньше. Жили, понятно, во грехе: ну как мог бы Дунаев сделать предложение Верочке, когда в этом доме он находился на положении приживала? Вот восстановится на службе...

Однако все сложилось крайне пошло и неприятно. Инзаев-старший случайно застал их с Верой на диване в ситуации недвусмысленной и, оскорбившись за поруганную честь племянницы, приказал Дунаеву немедля покинуть их дом. Кира был тоже возмущен и отвесил бывшему приятелю пощечину. Понятно, что драться ни с тем, ни с другим Дунаев не мог. Он и ушел. Верочка заламывала руки и кричала вслед ему из окошка: «Вернись! Умоляю, вернись!» – но Дунаев не вернулся. Он наудачу пошел к одному приятелю – тоже судейскому, – и застал того в разгар сборов.

Оказывается, 24 марта президент Вильсон объявил Германии войну, и некоторые американские офицеры, проживавшие в Петербурге и служившие при посольстве, подали просьбы позволить им вернуться домой и вступить в действующую армию. Приятель Дунаева, друживший с одним из них, тоже собрался поехать в Америку и принять участие в войне. На короткое время загорелся этой идеей и Дунаев. Военный атташе, от которого зависело решение этого вопроса, не возражал, понимая, что единственным другим выходом для скрывавшихся русских офицеров будет самоубийство, ибо с каждым днем обстановка в столице бывшей Российской империи становилась все сложнее. Власть теперь фактически принадлежала Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов, а от них пощады бывшим «подпоркам царского режима» ждать не приходилось. Дунаев, впрочем, довольно скоро одумался, в Америку не поехал, а вступил в войско адмирала Корнилова, несмотря на то – возможно, именно поэтому! – что Инзаев не раз проклинал Лавра Георгиевича, поскольку именно он незадолго до этого объявил императорской фамилии об аресте и препроводил ее в Царское Село. Инзаев не желал понять, что Корнилов готов был на все, чтобы облегчить существование заключенных! Однако вскоре, убедившись, что ему мало что удастся сделать, адмирал сложил с себя обязанности главнокомандующего войсками Петроградского округа. На фронте готовилось летнее наступление, и Корнилова перевели на Юго-Западный фронт командующим 8-й армией.

На Юго-Западный фронт направился и Дунаев. Но в августе, памятном мятежом Корнилова и его последующим арестом, все пошло кувырком. После многих передраг Дунаев оказался в Эстляндии, вскоре переименованной в Эстонию, служил в нарвской милиции, но покинул и город, и службу, как только в Нарве была провозглашена Эстляндская трудовая коммуна. Он добрался до Ревеля, но судьба и этого города была предрешена: красные уже стояли меньше чем в сотне километров! Именно тогда Дунаев выправил себе большевистские документы и вернулся в Петербург.

В самое большевистское пекло вернулся!

Но тому были причины.

Он совершенно четко осознавал, что Россия погибла, что прежнего не вернуть. Теперь Дунаев был готов к отъезду за границу и даже знал, к кому следует обратиться, чтобы уйти через Финляндию. Из Ревеля это было сделать проще, однако Дунаев хотел уйти не один, а забрать с собой Верочку.

Все это время он не переставал ее любить. Как ни странно, теперь эта любовь стала даже сильнее, чем прежде, хотя ветры разлуки, наверное, должны были задуть тускловатый огонек прежнего веселого и ни к чему не обязывающего чувства. Однако эти самые ветры превратили искорку в костер. Именно поэтому, уходя из России, Дунаев хотел уйти вместе с Верочкой.

Если, конечно, она не вышла замуж. Если она не эмигрировала с дядей и Кировой еще тогда, полтора года назад. Если она вообще жива!

Удивительно, однако Дунаев почему-то был убежден, что Вера не замужем, не уехала и жива. Никто, кроме него, не знал, как он берег, как лелеял это убеждение, как заботливо охранял его... словно бы защищал ладонями робкий лучик, который освещал беспросветную тьму его жизни.

В эти дни он понял безусловную точность расхожего выражения – луч надежды...

Деньги на подкуп проводника и на сносную жизнь за границей – хотя бы на первых порах – у Дунаева были. Спасаясь из резко покрасневшей Нарвы, пробираясь тайными лесными тропами к Ревелю, блуждая в чаще, он наткнулся на придавленный упавшим деревом труп мужчины. Ветки милосердно скрывали жуткую картину, и только обглоданная зверьем кисть руки высывалась из-под них, придерживая маленький саквояж со сломанным замком.

Дунаев образца октября 1918 года сильно отличался от себя же февральского. Пережитое закалило и очерстило его. Совершенно бестрепетно он вынул саквояж из мертвой руки и открыл его.

Все содержимое отсырело и заплесневело: и смена белья, и теплый вязаный жилет, и две пары носков, и завернутая в тряпицу краюха хлеба, и слипшийся в единый комок конверт с письмом. Чернила почти сплошь расплылись, и можно было с трудом разобрать только окончание фамилии адресата: -вскому. Благодаря сломанному замку внутрь пробрались какие-то мерзкие насекомые и слизни, устроившись мирно зимовать среди вонючего барахла.

Дунаев брезгливо саквояж отбросил в кусты и пошел было прочь, но тут его словно бы кольнуло что-то... Вернулся, вытряхнул остатки вещей, ощупал саквояж, вспорол ножом дно – и наткнулся на мешочек с золотыми украшениями. Украшения особой ценностью не отличались, но все-таки это было золото – самая надежная валюта на свете! Его было не столь много: несколько перстней, три даже с бриллиантами; прекрасные, похоже, старинные серьги с сапфирами; пара серег попроще; нагрудные женские часики, которые, конечно, не шли, но золотая оправа которых, несомненно, представляла собой некоторую ценность; несколько крупных розовых жемчужин на шелковой нитке, завязанной узелком, – видимо, часть рассыпавшегося ожерелья; а также одинокая золотая запонка с желтым дымчатым топазом, на котором отчетливо читались две искусно выгравированные буквы – Ф&Н.

– Заветный вензель – Ф да Н, – пробормотал Дунаев, перефразируя Пушкина.

Он тупо разглядывал неожиданное богатство, которое не смогла повредить сырость.

Конечно, вряд ли все это упало с неба! Возможно, драгоценности были награблены. Возможно, куплены. Возможно, сняты с трупов.

Да и что? Поблизости не имелось полицейского участка, куда их можно было бы сдать. Поблизости не отыскался монастырь, которому их можно было бы пожертвовать. Поблизости не встречалось голодных нищих, которым можно было бы подать на пропитание. Дунаев сам голодовал и нищенствовал. Он в первую минуту даже не слишком обрадовался находке – больше пожалел, что не сохранился хлеб, который можно было бы съесть прямо сейчас! К слову сказать, он еще больше наголодался, пока добрался до Ревеля и смог продать одно из колец. Насытившись, стал соображать лучше – и наконец-то осознал, что в руках у него ключик, которым он сможет отомкнуть дверь, ведущую... куда? Да не важно. Главное – откуда!

Из России.

Из страны, которой больше не было.

Теперь Дунаев был занят тем, чтобы раздобыть документы, с которыми можно без опаски вернуться в Петроград и забрать Верочку. И вот он в Петрограде!

Еще в поезде начало его терзать беспокойство. Дунаев в душе подтрунивал над собой, называя это беспокойство обычным нетерпением влюбленного, слишком долго жившего в разлуке с предметом своих чувств, но когда он отошел от площади перед Балтийским вокзалом, вдруг что-то произошло... Дунаев отчетливо помнил этот миг, когда ощущение страшной потери вдруг стиснуло сердце, вещий недобрый холод оледенил душу, словно черный ворон сел ему на плечо и каркнул: «Nevermore!»[7 - Никогда (англ.). Дунаеву вспоминается стихотворение Эдгара По «Ворон», в котором повторяется фраза: «Quoth the Raven «Nevermore!»» - «Каркнул Ворон: «Никогда!»»]

Он шел как мог быстро, и вот наконец показался дом, в котором жила Верочка.

\* \* \*

«...Вечером 16 июля нового стиля 1918 года в здании Уральской областной Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, располагавшейся в Американской гостинице города Екатеринбурга, заседал в неполном составе областной Совет Урала[8 - Уральская область - объединение Советов рабочих и солдатских депутатов и Советов крестьянских депутатов, существовавшее в Российской республике и в Советской России с мая 1917-го по январь 1919 г.]: председатель Совета депутатов А. Г. Белобородов, председатель областного комитета партии большевиков Г. Сафаров, военный комиссар Екатеринбурга Ф. Голощекин, член Совета П. Л. Войков, председатель областной ЧК Ф. Лукоянов, члены коллегии Уральской областной ЧК В. Горин, И. И. Родзинский и комендант Дома особого назначения (дом Ипатьева) Я. М. Юровский.

Присутствующие решали, что делать с бывшим царем Николаем II Романовым и его семьей. Сообщение о поездке в Москву к Я. М. Свердлову делал Ф. Голощекин. Санкции Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета на расстрел семьи Романовых Голощекину получить не удалось. Свердлов

советовался с В. И. Лениным, который высказывался за привоз царской семьи в Москву и открытый суд над Николаем II и его женой Александрой Федоровной, предательство которой в годы Первой мировой войны дорого обошлось России.

– Именно всероссийский суд! – доказывал Ленин Свердлову. – С публикацией в газетах. Подсчитать, какой людской и материальный урон нанес самодержец стране за годы царствования. Сколько повешено революционеров, сколько погибло на каторге, на никому не нужной войне! Чтобы ответил перед всем народом! Вы думаете, только темный мужичок верит у нас в доброго батюшку-царя? Не только, дорогой мой Яков Михайлович! Давно ли передовой ваш питерский рабочий шел к Зимнему с хоругвями? Всего каких-нибудь тринадцать лет назад! Вот эту-то непостижимую «расейскую» доверчивость и должен развеять в дым открытый процесс над Николаем Кровавым...

Я. М. Свердлов пытался приводить доводы Голощекина об опасностях провоза поездом царской семьи через Россию, где то и дело вспыхивали контрреволюционные восстания в городах, о тяжелом положении на фронтах под Екатеринбургом, но Ленин стоял на своем:

– Ну и что же, что фронт отходит? Москва теперь – глубокий тыл, вот и эвакуируйте их в тыл! А мы уж тут устроим им суд на весь мир.

Но была еще одна причина, которая решила судьбу Романовых не так, как того хотел Владимир Ильич.

Относительно вольготная жизнь Романовых (особняк купца Ипатьева даже отдаленно не напоминал тюрьму) в столь тревожное время, когда враг был буквально у ворот города, вызвала понятное возмущение рабочих Екатеринбурга и окрестностей. На собраниях и митингах на заводах Верх-Исетска рабочие прямо говорили:

– Чегой-то вы, большевики, с Николаем нянчитесь? Пора кончать! А не то разнесем ваш Совет по щепочкам!

Такие настроения серьезно затрудняли формирование частей Красной Армии, да и сама угроза расправы была нешуточной: рабочие были вооружены, и слово с делом у них не расходилось. Требовали немедленного расстрела Романовых и другие партии. Еще в конце июня 1918 года члены Екатеринбургского Совета

эсер Сакович и левый эсер Хотимский на заседании настаивали на скорейшей ликвидации Романовых и обвиняли большевиков в непоследовательности. Лидер же анархистов Жебенев кричал нам в Совете:

- Если вы не уничтожите Николая Кровавого, то это сделаем мы сами!

Не имея санкции ВЦИКа на расстрел, мы не могли ничего сказать в ответ, а позиция оттягивания без объяснения причин еще больше озлобляла рабочих. Дальше откладывать решение участи Романовых в военной обстановке означало еще глубже подрывать доверие народа к нашей партии. Поэтому решить наконец участь царской семьи в Екатеринбурге, Перми и Алапаевске (там жили братья царя) собралась именно большевистская часть областного Совета Урала. От нашего решения практически зависело, поведем ли мы рабочих на оборону города Екатеринбурга или поведут их анархисты и левые эсеры. Третьего пути не было»[9 - Из воспоминаний М. А. Медведева (Кудрина).].

\* \* \*

- Господин Иванов, спасите меня! Спасите!

- Кого она все время зовет, Петя? Кто такой господин Иванов? - Елизавета Верховцева с тревогой обернулась к мужу, чье лицо едва можно было различить в тусклом свете люстры с единственной оставшейся лампочкой: с электроэнергией были такие скачки и перебои, что лампы перегорали мгновенно, а новых взять было негде.

- Тот человек, который спас ее и передал мне, - пояснил Верховцев. - Вряд ли это его настоящая фамилия, конечно. Мне приходилось слышать, как его называли Сидоровым.

- Это не смешно, Петя! - раздраженно воскликнула Елизавета Ивановна.

- Я говорю совершенно серьезно, Лиза, поверь. Это человек с десятком фамилий и десятком обликов. Впрочем, это сейчас не важно. Лучше подумай, во что Нату переодеть. Нам самое позднее через полчаса надо выйти, иначе на поезд опоздаем.

– Петр, ты уверен, что мы можем ехать?! – всплеснула руками Елизавета Ивановна. – Она в таком состоянии...

– Мы должны уехать немедленно! – резко бросил Верховцев. – То, что произошло сегодня у Инзаевых, слишком серьезно, чтобы не обращать на это внимания. Я в Петрограде давно чувствовал себя как на пороховой бочке. Появление Наты в нашей семье может вызвать разговоры, у меня постоянно такое ощущение, что за мной следят. Я тебе говорил о том человеке, который шел за нами по Литейному от лотков букинистов до самой Кирочной? Это ведь из-за него мы съехали сюда... Дай бог, если он был один, но сколько еще таких могло остаться незамеченными? Зря я тянул с отъездом. Надо было сразу везти Нату в Москву, но я ждал появления Иванова. Надеялся на его помощь. Но теперь больше ждать нельзя, пора уезжать! Вернее, бежать! Нату обязательно будут искать. И если ее кто-то успел увидеть... или, не дай бог, узнать... Она ведь бывала там раньше! Конечно, все уверены, что никого больше нет в живых, это официально заявлено, однако разговоры я слышал всякие, самые настораживающие. Ах, как это было неосторожно – туда идти! Как можно было отпустить ее одну!

– Петя, я даже не предполагала, что она побежит к Вере, – виновато пролепетала жена. – Она уверяла, что просто побродит около дома: все время сидеть взаперти невозможно, она уже и там насиделась, ведь это полтора года длилось, ты пойми.

– Понимаю, – вздохнул Верховцев. – Ладно, что случилось, то случилось. Лиза, поставь греть воду, да поскорей. Надо ее умыть и очень тщательно вымыть руки. Зажги лампу, принеси щетку, чтобы ничего не осталось под ногтями.

Он поднял руку девушки, покрытую засохшей кровью, и снова ужаснулся случившемуся.

– Боже мой, боже мой, что же там произошло? – простонала Елизавета Ивановна. – Неужто Вера и в самом деле убита?!

И она замерла, прижав пальцы ко рту, потому что девушка, лежавшая в забытьи, вдруг пошевелилась и прошептала:

– Господин Иванов! Помните? «Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной...»[10 - Здесь и далее стихотворение Л. Рельштаба «Serenade» дается в

переводе Н. П. Огарева.]

Она пропела эту строку с такой трогательной нежностью, что на глаза Елизаветы Ивановны невольно навернулись слезы. А Ната продолжала:

– Я столько раз это пела, пока вас не было... Вернитесь! Спойте мне снова. Скажите, что все будет хорошо, что меня не найдут!

– Опять она его зовет... – вздохнула Елизавета Ивановна.

– Лиза, согрей воды поскорей, говорю я тебе! – уже сердито повторил Верховцев. – Пересмотри свои верхние вещи – что может ей пригодиться? То, что на ней, придется выбросить. Откуда взялось это ужасное старье, этот жуткий салоп, армяк, зипун... даже не знаю, каким словом назвать?! Ушла вроде бы в нормальном пальто.

– Да, в отличном пальто, в сереньком таком, – подтвердила Елизавета Ивановна. – Послушай, а может быть, ее ограбили, Петя? Ограбили, забрали пальто...

– Если бы забрали пальто, она прибежала бы в одном платье, – резонно возразил Верховцев. – И при чем тогда тут Вера, ее убийство? Почему у Наты руки окровавлены?! Жаль, нам некогда ждать, пока она окончательно придет в себя, мы ничего не можем сейчас выяснить. Лиза, прошу тебя, поторопись! Ищи для нее одежду!

Елизавета Ивановна пошла было из комнаты, но замерла, опять услышав срывающийся на крик голос:

– Господин Иванов, это вы?

Верховцев склонился к ней:

– Ната, милая, это же я, Петр Константинович. Разве ты не узнаешь меня?

– Господин Иванов... где вы, пожалуйста, вернитесь! – Голова с растрепанными волосами металась по подушке. – Вернитесь!

Елизавета Ивановна испуганно заломила руки:

– Петя, она так кричит! Я боюсь, что услышат соседи. Напротив живут такие мерзкие люди... Еще донесут в чеку! Вот тогда мы точно никуда не уедем. Ради бога, скажи ей, что ты и есть этот господин Иванов. Она все равно лежит с закрытыми глазами и ничего не видит.

– Займись своими делами, Лиза, – сухо ответил ее муж.

– Да, пойду поставлю воду. Господи, переживу ли я этот вечер?! – Она с трудом подавляла рыдания.

– Успокойся, Лиза, – обнял ее Верховцев. – Мы должны выполнять свой долг. И мы, и Филатовы, и господин Иванов, и все другие, кто посвятил себя этому благородному делу и дал клятву еще в те времена, когда казалось, что от нас не потребуется ничего опасного... Мы должны выполнять свой долг, несмотря на риск, несмотря на жертвы, которые мы приносим.

– Мы так и не узнали, что стало с Филатовыми, – прошептала Елизавета Ивановна, не отрываясь от плеча мужа. – Удалась ли подмена?

– Я не хотел тебе говорить, – вздохнул Верховцев. – Нет, ничего не получилось. Смогли спасти только Нату.

– Господи! – Елизавета Ивановна отстранилась, с ужасом взглянула в лицо мужа. – Давно ты это знаешь?

– Давно, – кивнул Верховцев. – Мне успел рассказать об этом Иванов еще при нашей встрече в Перми.

– И ты молчал! – упрекнула Елизавета Ивановна. – Почему не сказал мне?

– Это все слишком страшно, Лиза, – хрипло ответил Верховцев.

– Где же теперь Филатовы?

– Лиза, я потом об этом расскажу, хорошо? – сухо проговорил Петр Константинович. – Только не сейчас! У нас нет времени. Если опоздаем к поезду, на котором служит мой знакомый, мы сегодня не уедем. Тогда я и за нашу участь не поручусь. И за участь этой бедняжки...

– Скажи только одно: Филатовы живы? – чуть ли не взмолилась Елизавета Ивановна.

– Нет, – резко ответил он.

– Я знала, я чувствовала! – Елизавета Ивановна закрыла лицо руками. – Потому и боялась тебя расспрашивать... А те... те, кого они должны были заменить? Они еще живы?

– Ничего не знаю точно, – уклончиво ответил Верховцев. Он все знал точно, однако не хотел сообщать об этом жене. – Иванов отвечал только за Нату. Другие сопровождающие не подавали о себе никаких вестей. Это плохо, Лиза. Мы должны быть готовы к тому, что эта девочка осталась одна, совсем одна на свете, а главное, что мы должны справиться с этой ситуацией без всякой посторонней помощи. Ее жизнь зависит только от нас. Теперь, после гибели Веры, только мы знаем, кто она такая. Сейчас об этом, конечно, лучше на время забыть, но наш долг – ее спасти! Конечно, хорошо бы при этом спастись и самим, но это уж как бог даст.

– Господин Иванов! – снова раздался умоляющий шепот. – Это вы?

Елизавета Ивановна, подавив рыдание, выбежала из комнаты, а Верховцев положил ладонь на горячий лоб девушки:

– Да-да, Ната. Это я, я здесь.

– Господин Иванов, как я рада, что вы вернулись! – радостно воскликнула девушка, прижимая ко лбу его ладонь. – Знаете, я вас все время вспоминаю... А вы меня вспоминали?

– Конечно, Ната, конечно, – ответил Верховцев, и сердце его вдруг так и зашлось от жалости к этой несчастной девушке, от страха за нее и за них с женой, от

смертельной тоски по прошлому, которое ушло безвозвратно.

Да, конечно, всякое прошлое уходит безвозвратно, его сменяет настоящее, и, если оно не радует нас, нам в утешение остаются мечты о будущем, однако Верховцев ужасался настоящему, а будущее вообще представлялось ему жуткой клубящейся кроваво-красной тьмой!

– Не называйте меня Натой, – попросила девушка. – Я знаю, что мне надо к этому имени привыкнуть, а старое забыть, но я так хочу то имя услышать, которым вы меня там, в лесу, называли! Помните, вы мне сказали: «Здравствуйтесь, Настасья Николаевна! Давайте по лесу немножко прогуляемся, хорошо, Настасья Николаевна?» И мне вдруг так смешно стало, что я – Настасья, хотя я была ужасно напугана. Правда, было очень страшно, особенно когда я бежала к вам через рощу в этой Нижней Курье! – Ната вздрогнула. – Слово такое ужасное – Курья... Мне представлялась изба на курьих ногах и все время казалось, что она откуда-то сейчас приковыляет и из нее выскочит Баба Яга! Но появились вы. Я сначала испугалась: вы были во всем черном, так мрачно смотрели своими черными глазами! И вдруг вы говорите: «Здравствуйтесь, Настасья Николаевна!» Мне сразу легче стало. А помните зайца? Ну, которого вы подстрелили из вашего револьвера, чтобы меня накормить? Неужели не помните? Около той усадьбы, где мы должны были найти пищу и ночлег, а усадьба оказалась сожжена, и никого не было... вы так и не сказали, что стало с хозяевами, но я и сама поняла, что они погибли... Мне было так страшно! Я все время плакала, а вы в это время того зайца ободрали, и разделали, и поджарили, найдя в развалинах остатки печурки. Мясо подгорело, но вы заставили меня есть, а я плакала, плакала... И тогда вы сказали: «Жаль, что я не могу плакать, мясо несоленое до чего противное! Может быть, Настасья Николаевна, вы одолжите мне немного своих соленых слез?» Я тогда чуть не подавилась, но все же перестала рыдать, немного успокоилась и почти доела зайчатину. А потом говорю: «Больше не могу, лучше на завтра оставить». А вы так ворчливо приказали: «Ешьте-ешьте! Мало ли что с нами завтра будет! Вот, помню, сидел я в тюрьме у большевиков еще зимой, а передачи мне носить особо некому было: только тетушка старенькая редко-редко навещала меня. Очень голодно жилось! И когда она приносила что-нибудь, я немедля, в тот же день, все продукты изничтожал до крошки: обидно, думал, будет, если ночью расстреляют и еда пропадет». Наверное, эти слова должны были повергнуть меня в ужас, но нет – не повергли. Я послушно догрызла остатки зайца. Помните, господин Иванов?

– Да-да, все помню, – хрипло подтвердил Верховцев.

– Нам было так трудно, так опасно пробираться в обход Перми, чтобы встретиться с Петром Константиновичем, помните? – продолжала Ната. – А теперь мне кажется, это была чудесная прогулка. Осенний лес напоминал прекрасный сад, украшенный желтыми цветами! И мы говорили, говорили... Я вам всю свою жизнь рассказала: и как росла, и как мы с сестрами в госпитале работали, как учили раненых грамоте, и про Луканова, и про этих ужасных солдат в Екатеринбурге, и про того, который в меня стрелял... Про все рассказала: и про плохое, и про хорошее. Я думала, вы со мной и Петром Константиновичем дальше поедете, а вы куда-то исчезли. Но на самом деле вы все равно как будто всегда со мной. Здесь, в Петрограде, только воспоминания о вас помогают мне держаться. Я раньше так любила этот город! Конечно, Москву и Ливадию гораздо больше, но Петроград тоже очень сильно любила. А теперь он превратился в ужасное гнездилище врагов и убийц. Как будто какой-то самый злой на свете колдун махнул волшебной палочкой – и все на свете заколдовал. Иногда я не могу уснуть от горя, но вспоминаю, как тогда, в ту ночь, чтобы мне не было страшно в той мертвой усадьбе, вы пели... пели по-немецки. Я немецкий никогда не любила, но это звучало так прекрасно:

Leise flehen Lieder

Durch die Nacht zu dir;

In den stillen Hain hernieder,

Liebchen, komm zu mir!..[11 - «Тихо молит моя песня тебя ночью; в тихую рощу ко мне приди, любимая!» (нем.). На стихи поэта Людвиг Рельштаба написан романс Франца Шуберта «St?ndchen» (или «Serenada»), но в России он более известен с поэтическим переводом Николая Огарева «Ночная серенада»: «Песнь моя летит с мольбою Тихо в час ночной. В рощу легкую стопою Ты приди, друг мой!»]

Сердце у Верховцева болело все сильнее. Слышать этот прерывающийся голосок было так же невыносимо, как исповедь умирающего человек.

Вернее, уже умершего. Ведь она, можно сказать, восстала из могилы!

«Господи, помоги ей! – мысленно взмолился Верховцев. – Помогите нам всем, Господи!»

– Петя, вода согрелась! – окликнула Елизавета Ивановна, выходя из кухни, но он только махнул рукой, продолжая слушать неровный, задыхающийся голос Наты:

– Знаете, господин Иванов, вы мне и сегодня помогли спастись. Честное слово, мне кажется, что я, когда бежала, вас все время видела впереди. И в ту арку, где я спряталась, я потому вбежала, что мне показалось, будто вы меня туда подтолкнули. И когда у меня ноги подкашивались, мне слышалось, будто вы мне говорите – так же, как там, в лесу: «Слишком много сил было приложено, чтобы вас спасти, Ната! Если вы сдадитесь, вы уничтожите все наши усилия. И все жертвы, которые были ради вас принесены, окажутся напрасными!» Да, меня это заставляло идти. Но я все время думала о тех жертвах, ради меня принесенных. Та девушка, которая бежала мне навстречу в Нижней Курье, которая вернулась вместо меня в подвал... Жива ли она? А моя семья? Я обещала ничего не спрашивать, но я не могу не думать о том, как на их участи отразилось мое бегство! Нет-нет, я знаю, что все будет хорошо с ними, не может не быть хорошо! Я должна в это верить, иначе не смогу жить! Но... но те люди в усадьбе – их убили из-за меня, да? Скажите, господин Иванов?

– Я не знаю, Ната, – глухо ответил Верховцев, убирая ладонь с ее лба. – Война! Кругом идет война, и никто из нас не может поручиться, что он будет жив завтра или даже через час. Революция и война требуют постоянных жертвоприношений. Но вы ни в чем не виноваты, помните: виноваты те, кто разжег этот страшный пожар в России.

– Да, я понимаю, конечно... – вздохнула Ната и вдруг снова нервно встрепенулась: – А Верочка? В ее гибели в самом деле виновата я? Лучше бы я не ходила к ней сегодня. Но я пошла потому, что она в прошлый раз пообещала у каких-то людей точно выяснить, что случилось с мамой, с сестрами... Здесь ведь все время твердят, что мы погибли – все. Но я-то совершенно точно знаю, что это не так! Я ведь не погибла! Я жива! И если я смогла бежать, наверное, и они тоже? Но я ничего о них не знала. Вера обещала выяснить и рассказать. А вместо этого... Как это было страшно, если бы вы только знали! Вот только что она была жива, смеялась – и вдруг...

– Она сказала, у кого это может выяснить? – вдруг насторожился Верховцев. – Сказала, кто эти люди, которые все точно знают?

– Нет, – вздохнула Ната.

– Петя, время уходит! – напомнила Елизавета Ивановна.

– Что же это получается? – словно не слыша, пробормотал Верховцев. – Что же это за люди вдруг возникли такие всезнающие?

– Петя! – простонала жена.

– Да, – резко сказал Верховцев. – Пора! Ната, очнись, посмотри на меня. Это я, Верховцев.

Девушка распахнула испуганные глаза, огляделась недоверчиво:

– Петр Константинович? А где господин Иванов? Он был здесь! Я говорила с ним!

– Да, – с трудом прокашлявшись, подтвердив Верховцев. – Но он только что ушел. Он... он срочно уехал в Москву. И мы тоже должны как можно скорей отправиться туда.

– Я постараюсь, – кивнула Ната, приподнимаясь. – Но как же я могу ехать? У меня руки в крови, – испуганно оглядела она себя и зажмурилась: – Какой ужас!..

– Успокойся, – резко приказал Верховцев, боясь возвращения истерики. – Надо поскорей вымыться и переодеться. Прошу, держись, держись, Ната. Ни о чем плохом не думай. Помни: мы едем в Москву! Ты ведь любишь Москву? Вот и думай о ней. Вспоминай, как ты там бывала, вспоминай обо всем хорошем, что было в твоей жизни. Это поможет тебе быть сильной. Думай про господина Иванова. Он просил тебя быть сильной – как тогда, в лесу. Он просил напомнить тебе, что ты не имеешь права на слабость. Иначе все жертвы, которые были принесены ради твоего спасения, окажутся напрасными!

– Да, хорошо. Да. Я постараюсь быть сильной. Мы едем в Москву...

\* \* \*

«Несмотря на то что слухи об убийстве Николая Романова не получили до сих пор официального подтверждения, они продолжают циркулировать в Москве.

Вчера, со слов лица, прибывшего из Екатеринбурга, передавалась следующая версия о случившемся: когда Екатеринбургу стало угрожать движение чехословаков, по распоряжению местного совдепа отряд красногвардейцев отправился в бывший губернаторский дом, где жили Романовы, и предложил Царской семье одеться и собраться в путь. Был подан специальный поезд в составе трех вагонов. Красноармейцы усадили Романовых в вагон, а сами разместились на площадках. По дороге будто бы Николай Романов вступил в пререкание с красноармейцами и протестовал, что его увозят в неизвестном направлении, что в результате этой перебранки красноармейцы якобы закололи Николая Романова. Тот же источник передает, что великие княжны и бывшая Императрица остались живы и увезены в безопасное место. Что же касается бывшего наследника, то он тоже увезен, отдельно от остальных членов семьи. Все эти сведения, однако, не находят подтверждения в советских кругах»[12 - Газета «Новое слово», № 49 от 20 июня 1918 г.].

\* \* \*

Этот дом старожилов Петербурга звали «дом Тарасовых». Собственно говоря, это был не один дом, а несколько пристроенных друг к другу. Они выходили на набережную и на 1-ю Роту Измайловского полка[13 - Названа эта улица была так потому, что на ней начиная с 1740 года строились казармы и дома для жительства гвардейцев Измайловского полка. Теперь называется 1-я Красноармейская улица.]. Всего квартир в доме было двести, самой разной величины и удобства, годных и для самих братьев Тарасовых (они занимали четырнадцать комнат), и для помощника министра финансов, и для обедневшего, но еще не вполне разорившегося князя, и для гвардейского офицера, и для учителя, врача, мелкого чиновника и даже для рабочего, получавшего хорошее жалованье.

Инзаевы занимали восьмикомнатную квартиру в третьем этаже.

В доме – не во всем, конечно, только в некоторых парадных, – имелся лифт, и Дунаев часто вспоминал, как они с Верочкой, уговорив швейцара не сопровождать их (вернее, сунув ему рубль), целовались в отделанной вишневым бархатом кабине, очень похожей на коробочку для дорогих духов, только с зеркалами и причудливыми светильниками по стенам, и перед тем как выйти, Верочка строила глазки своему отражению и бормотала что-нибудь вроде: «боже мой, как я непристойно выгляжу!» или «У меня совершенно порочный

вид!». От этих трагических реплик Дунаев начинал так хохотать, что у него чуть ли не судороги делались, а Верочка обижалась, поэтому они выходили из лифта вовсе не как пылкие любовники, а почти как враги, и это до поры до времени отводило от них подозрения Верочкиных родственников... Ах, как все это сейчас вспоминалось, как ласкало душу, но все-таки не могло отогнать тревоги!

Дунаев даже споткнулся, когда увидел дом Тарасовых: раньше всегда такой нарядный, внушительный, а теперь словно бы пригнувшийся, обшарпанный, как бы покалеченный. Вот здесь пулеметная очередь оставила глубокий след на стене, там заколочены фанерой окна, а из других торчат уродливые закопченные трубы «буржук» – небольших железных печек, на которые перешли чуть ли не все петербуржцы. «Буржуйками» их называли за необычайную прожорливость. Ради того, чтобы прокормить этих маленьких дымящих зверей, были разобраны чуть ли не все деревянные дома, которые стояли заброшенными, сожжено множество мебели, книг... целые библиотеки исчезали бесследно в их огнедышащих пастях! Грели «буржуйки», только пока пылал огонь: в эти минуты на них даже можно было что-нибудь приготовить, но они потом мгновенно остывали, а уж чадили нещадно! Черной гарью были закопчены окна, из форточек которых торчали трубы «буржук», черная гарь ключьями висела на стенах.

Дунаев с трудом удержался, чтобы не схватиться за сердце. Много он повидал за минувшие полтора года, но в его воображении этот дом оставался таким, как раньше: величественным и в то же время уютным обиталищем любимой женщины, очаровательной, шаловливой, незабываемой. И змеей ужалила мысль: а Верочка – она тоже изменилась? С чего он взял, что она осталась прежней?! Что сделали с ней война и это невыносимое время? Да полно, найдет ли он ее вообще?!

Сдерживая нервную дрожь, Дунаев подошел к знакомому парадному, протянул руку – толкнуть дверь, – но в эту минуту она сама собой распахнулась, и перед ним возникла маленькая женская фигурка, облаченная в какую-то нелепую громоздкую одежду – не то пальто, не то тулуп, – бывшую ей явно не по росту. Дунаев успел заметить бледное перепуганное личико, низко сползший на лоб платок и ярко-красные перчатки на руках.

В первое мгновение он так и подумал: что за перчатки такие диковинные и до чего же нелепо они смотрятся в сочетании с этим тулупом! А девушка, на миг помедлив, бросилась вперед, словно не видя Дунаева, ударила в него всем

телом – она и в самом деле была маленького роста, едва доставала ему до плеча, – и взвизгнула истерически:

– Пустите!

– Извольте, мадемуазель, – удивленно пробормотал Дунаев, машинально посторонившись, и в это мгновение сзади, на лестнице, завопили:

– Ах! Ой! Да что же это?! Держи ее! Лови ее!

Девушка проскочила мимо Дунаева, и до него только сейчас дошло, что руки-то у нее не в перчатках, а в крови...

Сыскной пес, которого он считал давно сдохшим, в этот миг внезапно ожил в его душе, вскинул голову и возбужденно залаял. Дунаев повернулся и кинулся вслед за девушкой. Было не важно, что она совершила, по какой причине, не важно даже, кто она такая, – сыскной пес знал службу: догнать! Схватить! Задержать!

Дунаев был высоким и длинноногим, однако эта маленькая девушка бежала с необычайной быстротой. Видимо, она совершила что-то воистину страшное, ее саму ужаснувшее, потому что только до смерти напуганный человек мог мчаться с такой скоростью. Дунаев видел мельканье ее маленьких ножек. Чудилось, ее невысокую фигурку несет ветром! Самое удивительное, что ветер был встречным, Он мешал Дунаеву, бил его в лицо и в грудь, хоть немного, да замедлял его бег, а вот девушка ветра словно бы не замечала: казалось, он был для нее попутным, он подхватил ее и нес, уносил от Дунаева.

Как назло, набережная была пуста, некому крикнуть: «Задержите ее!» Правда, сзади раздавались чьи-то торопливые шаги и сбившееся дыхание. Кто-то тоже бросился в погоню за этой девушкой. Дунаев изо всех сил надал ходу, но внезапно споткнулся, почти тотчас поймал было равновесие, но в это мгновение на него наскочил тот, кто бежал сзади. Дунаев головой вперед пролетел несколько шагов, с трудом удержался на ногах, а когда выпрямился, набережная впереди была пуста.

Девушка исчезла.

– Куда ж она запропала?! – потрясенно выдохнул кто-то сзади. – Будто корова языком слизнула! Дивья!

Дунаев обернулся. Перед ним стоял невысокий тощий человек в куцей шинелишке с обгорелыми полами, туго перепоясанной обрывком толстой веревки. Он утирал вспотевшее лицо облезлым треухом, обнажив очень круглую, словно на токарном станке выточенную, голову с неровно, лесенками подстриженными темно-русыми волосами.

Наконец незнакомец снова нахлобучил треух и уставился на Дунаева.

– Чего тарацишься? – сердито рявкнул он, сверкнув рыже-кариими глазенками. – Прос. ал, все прос...л, язви тя в душу!

– Какого черта ты на меня наскочил? – рявкнул в ответ и Дунаев.

– Дык спотыкнулся, – мигом сбавив тон, пояснил незнакомец. – Вишь, каковы на мне отопки? Каково не заплестись?

И он поднял ногу, обутую в крайне изношенный солдатский башмак с грязными обмотками[14 - Обмотки, онучи – в старинной русской обуви полосы холщовой ткани, которыми обматывали ногу от лаптя или, в военное время, ботинка до колена, создавая некое подобие сапога и защищая икры. Обмотки были в составе армейского обмундирования еще в начале Великой Отечественной войны.]. Подметка у башмака отставала, и загадочное слово «отопки» мигом стало понятно Дунаеву.

– Чего попусту трекаться? – вдруг спохватился незнакомец. – Бежим-ка! Глядишь, еще и догоним убивцу!

Он схватил Дунаева за руку и пустился вперед на своих кривоватых, но очень проворных ногах. Они промчались до конца квартала, но набережная по-прежнему была пуста – никого они не догнали. Легко можно было догадаться, что когда Дунаев споткнулся и перестал следить за бегущей впереди девушкой, она шмыгнула в какой-нибудь двор или ей попалось удобное парадное, через которое она и сбежала. Вот только пойдя найди ту подворотню или парадное. Тем паче, что девушка вряд ли там до сих пор стоит и ждет, чтобы ее схватили!

– Да, упустили, – с сожалением пробормотал Дунаев, не без усилий усмиряя того сыскного пса, который пробудился в его душе и теперь нипочем не желал оказываться от погони. – А она в самом деле убила кого-то или просто так крик подняли?

– Кто ж за просто так про убийство горлопанит?! – возмущенно глянул на него незнакомец. – Она барышню одну зарезала.

Сообщив это, он наклонился и попытался приладить на место подметку, отчего голос его зазвучал не вполне внятно:

– Больно хорошую барышню порешила, падла этакая! Добрую! Прямо как меня самого зарезала, паскуда. Мы с той барышней душа в душу жили!

Дунаев взглянул на опаленную на спине шинельку, грязный треух, «отопки». Очевидно, этот невзрачный человечек называл барышней какую-нибудь кухарку или горничную, с которой он и жил «душа в душу». То-то кинулся сломя голову «убивцу» ловить!

– Любушка твоя была, что ли? – спросил Дунаев, еще раз азартно оглядывая опустевшую набережную и мысленно прикидывая, куда могла шмыгнуть «убивца». – Соболезную...

– Любушку?! – снизу вверх, не разгибаясь, изумленно уставился на него человек. – Сказанул, ну, сказанул! Мы пролетарского происхождения, а она барышня, из бывших. Но хоть и чуждый элемент, все ж таки доброй уродилась души. В квартире жила огромнейшей! Барахла там заваялось несчитано, а особенно белья всякого, простыней да наволок. А она одна осталась: дяденька сердцем помер, не пережив крушения старого мира, братца шальная пуля на улице нашла. На что жить? Барышня шибко благородная: самой ей идти простынями торговать, понятное дело, зазорно было. Я ей поперва уголька помог в квартиру поднести, потом шкаф на дрова порубил – так вот и познакомились. Единова она мне гырт: вы, гражданин Сафронов, не затруднились бы кой-чего на толкучке продать? С вашей, конечно дело, выгодой, гырт?

Дунаев не без труда сообразил, что «гырт» значит «говорит».

– Ну, коли с выгодой, то кто же откажется? – продолжал «гражданин Сафронов». – Я раз продал кучу ее тряпья, деньги ей принес, другой раз продал, вот и нынче должен был забрать узелок с бельишком. Влез в третий этаж, стучусь в дверь, ору: «Вера Николаевна, отворите, это я, Сафронов Вениамин Ильич, знакомец ваш!» Потом гляжу – дверь приотворена. Я зашел, а она в сенях на полу лежит с ножиком в грудях. Я и руки врозь! И тут мимо меня шмыг эта, убивца-то!

– Что ты сказал?! – прохрипел Дунаев.

– Грю, мимо меня она, убивца, стал-быть, шмыг, – заново завел Сафронов, но Дунаев сгреб его за грудки:

– Как ее звали?!

– Почем же мне знать?! – затрепыхался Сафронов, пытаюсь вырваться. Треух сполз ему на глаза. – Неужто я ее разглядел, падлу?! Там, в сенях-то, темно было!

Но Дунаев уже понял, что не ослышался.

Он отшвырнул Сафронова и помчался обратно по набережной.

Мыслей не было, только чернота какая-то клубилась в голове. И ни одним лучиком надежды она не освещалась, только раскаяние разрывало душу: почему не взял извозчика на вокзале, зачем пошел пешком? Ведь терзало, терзало его предчувствие, отчего же не послушался голоса сердца?! Всего полчаса, какие-то несчастные полчаса отделили жизнь от смерти, всего полчаса перечеркнули то будущее, которое Дунаев намечтал для себя и для Верочки, то будущее, которым он жил в последнее время, ради которого жил! Теперь выходило, что будущего этого нет и жить Дунаеву больше не для чего.

Так зачем он бежит по набережной? Зачем возвращается к дому Тарасовых? Не проще ли шагнуть к гранитному парапету, за которым ледяной сыростью веет от всегда темных, всегда мрачных, всегда тяжелых волн реки Фонтанки, перевалиться через этот парапет, удариться о воду, кануть в глубину и вдохнуть смерть полной грудью, как воздух той свободы и того счастья, которого ему вдохнуть не суждено?

А вдруг Вера еще жива? Вдруг этот Сафронов что-то перепутал? А Дунаев, паршивая сыскная шавка, кинулся вдогонку за неведомой «убивцей», вместо того, чтобы помочь Верочке?

Но нет... Дунаев чувствовал, что все для него потеряно: любимой нет в живых. Тьма и безнадежность воцарились в душе, и если какая-то сила еще заставляла сердце биться, то силой этой была жажда мести, которая терзала Дунаева до лютой боли и потребовала немедленного утоления.

Он не пробежал и квартала, как из-за угла вывернулся патруль: солдат, матрос и штатский в фуражке и жутко скрипящем кожане – неременной форме всех чекистов образца 1918-го, а также обольшевичившихся пролетариев:

– Стойте, граждане! Документы!

– Крупников! – радостно воскликнул Сафронов, кидаясь к человеку в кожане. – Не узнаешь?

– А, товарищ Сафронов, – проскрипел тот, причем было непонятно, то ли голос у него такой, то ли его кожан ведет свои собственные разговоры. – Ты чего не у станка? Лодыря гоняешь? Мировая революция, знаешь, лодырей не терпит!

– Нынче не моя смена, – буркнул Сафронов. – Завтра чем свет опять пойду на мировую революцию горбатиться.

– Горбатиться?! – грозно заскрежетал кожан. – Это ты так называешь труд в пользу мировой революции?!

– Да ладно тебе, Крупников, – примирительно вмешался солдат-патрульный. – Угомонись. Наше дело документы проверять, а не за мировой революцией следить. Этот с тобой? – обратился он к Сафронову, указывая штыком, примкнутым к винтовке, на Дунаева.

– Да это... – заюлил глазами Сафронов. – Мы шли вместе, а кто он такой, знать не знаю, ведать не ведаю.

– Тогда документы предъявь! – велел Крупников, для острастки кладя руку на кобуру и вприщур глядя на Дунаева.

Матрос на всякий случай взял винтовку наперевес.

Дунаев полез за пазуху, достал кисет, в котором вместо табака, ибо он не курил, хранились его документы. Мельком подумал, что ему было бы очень легко положить сейчас этот патруль – одного к одному, и вертлявого Сафронова рядышком с ними, – потому что за пазухой был спрятан и пистолет. Ему нужно было поскорей вернуться к Вере, он страстно мечтал убрать с пути эту революционную преграду, но прекрасно понимал, что это только осложнит ситуацию. Надо набраться терпения.

Документы тщательно изучались при тускловатом свете угасающего дня – как показалось Дунаеву, не из сомнения в их подлинности, а по малограмотности патрульных. Казалось, бесконечно долго Крупников шевелил губами, выговаривая:

– Дунаев Леонтий Петрович... Комитет партии большевиков... Эстония, бывшая, стало быть, Эстляндия...

Наконец матрос и солдат закинули винтовки за плечи, а Крупников с облегчением выдохнул, возвращая бумаги Дунаеву:

– Все в порядке, товарищ. Можете идти. И ты, Сафронов, иди, куда шел.

Дунаев двинулся вперед молча, даже не кивнув, машинально убирая документы в кисет. Слышно было, как за спиной Сафронов насмешливо крикнул:

– Наше вам с кисточкой! – и торопливо зашаркал своими отопками, догоняя Дунаева.

Впрочем, он ни слова не сказал, а только пристроился рядом и пыхтел, стараясь не отставать, пока они приближались к дому.

Около парадного толпился народ, сновали двое в таких же кожаных, как у Крупникова, о чем-то расспрашивали людей. Через Измайловский мост тащилась

подвода, на которой лежало что-то, накрытое рогожей.

– Неужто труповозка уже побывала?! – возбужденно воскликнул Сафронов. – Увезли Веру Николаевну, что ль? И милиция, ты гля, уже здесь? То их не докличешься, хоть башку об стену разбей, а то живой ногой!

Дунаев с трудом осмысливал случившееся. На той подводе, которая уже переехала через мост, – Вера?! Под этой грязной рогожей?..

В глазах потемнело, ноги подкосились, он схватился за что-то костлявое, резко подавшееся вниз и запищавшее:

– Полегче, земля!

Дунаев с трудом сообразил, что он, пытаясь удержать равновесие, схватился за плечо Сафронова, а тот чуть не упал.

Впрочем, у него все же хватило сил подвести Дунаева к дому и переложить его руку со своего плеча на стену:

– Обопрись-ка. Стена покрепче меня будет. Ты чего зашелся этак, аж с лица спал? Неужто... неужто не чужая она была тебе, барышня эта, Вера Николаевна? Погоди, погоди... – Он так и впился глазами в лицо Дунаева. – А не твой ли патрет у них в комнате висит?! Всамделе твой!.. Ты, она, оба в лодочке...

Дунаев тупо смотрел на серую обшарпанную стену дома, а перед глазами разноцветно вспыхивал тот давний-предавний чудесный день, когда они с Верой катались по Неве, – день, совершенно им позабытый, но сейчас вспомнившийся с необычайной остротой и яркостью.

День из той жизни, которая умерла и не воскреснет...

Которая была заколота ножом.

А он упустил убийцу!

– Ишь, как перекрутило тебя, – сочувственно пробормотал Сафронов, по-прежнему вглядываясь в его лицо. – Не тотчас и признаешь...

– Виктор Юлианович! – раздалось сдавленное восклицание, и Дунаев вяло повел глазами, пытаясь рассмотреть, кто его зовет.

Это оказался худющий голубоглазый остроносый молодой человек в некогда светлой, а теперь заношенной и грязной студенческой шинели, наброшенной на сутулые плечи. Шея его была обмотана толстым вязаным шарфом, и при виде этого шарфа Дунаев сразу вспомнил, кто перед ним.

Это был Павлик Подгорский – друг детства, сосед (его квартира находилась на той же лестничной площадке, что и Инзаевых) и гимназический одноклассник Киры Инзаева. Подгорский-старший некогда служил в Отдельном корпусе жандармов, но чуть больше года назад умер от пневмонии. Павлик и его матушка Людмила Феликсовна при прошлой власти могли рассчитывать на изрядную пенсию, однако после Октябрьского переворота эти расчеты сошли на нет. Павлик был влюблен в Верочку, но та считала его кем-то вроде брата, поэтому любовь осталась платонической. Павлик вырос необычайно болезненным, ангина была его «любимой» хворью, поэтому шарф с шеи он снимал только в самую жаркую жару, которая, впрочем, случалась в Петербурге-Петрограде очень редко. Вдобавок он прихрамывал. Кира с его болезнью Литта и Павлик смотрелись рядом трагикомически, отчего злые языки называли их «пара хромых, запряженных с зарею», пародируя известный романс «Пара гнедых» в сладкоголосом исполнении знаменитого Саши Давыдова. А когда в 16-м году появилась еще и фильма?<sup>[15 - В описываемое время слово «фильм» произносилось чаще всего так и имело форму женского рода – очевидно, по аналогии со словом «синема» (ударение на «а»), хотя слово *cinema* во французском языке как раз мужского рода. Постепенно ударение в слове «фильма» перешло на «и», а потом окончание «а» вовсе исчезло и слово приобрело современную форму.]</sup> по этому романсу, популярность прозвища приятелей достигла своего апогея. Не преминул злоупотребить им и Дунаев, отчего надолго поссорился с «парой хромых».

Однако сейчас он обрадовался Павлику, как самому близкому другу.

Ведь Павлик жил рядом с Верой. Он знал ее. Он сможет рассказать Дунаеву о том, как приходилось Вере в это ужасное время. Может быть, его рассказы помогут отыскать убийцу? Может быть... «Да полно! – одернул себя Дунаев,

ощутив всплеск безумной надежды. – А что, если Верочка все-таки жива? Если на той телеге увезли ее только раненной?»

– Господи, Виктор Юлианович! – снова воскликнул Павлик, глядя на Дунаева с таким испугом, словно увидел перед собой ожившего мертвеца.

Дунаев только хотел поздороваться с Павликом, как вдруг рядом раздался возмущенный голос:

– Какой он тебе Виктор? Какой тебе Ульянович? Это Леонтий Петрович Дунаев, эстонский большевик! Обознатки вышли, гражданин!

Павлик вытаращил глаза и замер с вздытыми руками: он-то уже собирался обнять старинного знакомца. А Дунаев наконец спохватился: ведь привязавшийся к нему Сафронов слышал, как начальник патруля прочитал в партбилете его новое имя и отчество. Вот сейчас Павлик, который всегда отличался редкостным простодушием и немалой бестолковостью, заблажит что-то вроде: «Сами вы обознались, никакой это не Леонтий Петрович, а Виктор Юльянович Дунаев!» – и Сафронов ринется вон к тем троицам в кожанках, которые курят поодаль, присматриваясь к перепуганным жильцам, которые вышли проводить Верочку. А ведь это наверняка милиционеры, если не чекисты...

Острое чувство опасности пронзило Дунаева, но в это время Павлик вдруг хлопнул себя по лбу и воскликнул:

– Варте ум файгель! Какой же я идиот! Простите великодушно, э-э, гражданин. Варте ум файгель! Их верде комен!

И, резко повернувшись, ушел в парадное.

– Чего это он проблекотал? – растерянно спросил Сафронов, заглядывая в лицо Дунаеву. – Какое-такое файгель, слышь?

– Это по-немецки, – со всем мыслимым спокойствием пояснил Дунаев. – В переводе значит: «Да ведь это не он! Я ошибся!»

– Дык ясна ель, ошибся: какой же ты Виктор, когда ты Леонтий?! – энергично закивал Сафронов, а Дунаев пробурчал:

– Кстати, ты тоже ошибся: я, конечно, знал Веру Николаевну, но не слишком хорошо. И не мою ты фотографию видел у нее в квартире. Я с ее братом двоюродным дружил когда-то. Пришел сюда просто потому, что хотел у них переночевать. Конечно, потрясен был, что она погибла... Теперь придется к другому приятелю идти ночевать, а убийцу пускай милиция ловит. Вот так-то! Спасибо тебе за компанию. Ты сам-то далеко отсюда живешь?

– Да нет, два шага, – отмахнулся Сафронов. – Тебе куда, товарищ Дунаев?

– А тебе, товарищ Сафронов? – спросил тот, едва не подавившись словом «товарищ».

Сафронов неопределенно махнул рукой.

– А мне туда, – Дунаев махнул еще более неопределенно.

– Ну, прощевай тады, – смешно расшаркался Сафронов и побрел по набережной в ту сторону, откуда они только что вернулись.

А Дунаев сначала сделал несколько шагов в противоположном направлении, оглянулся, удостоверился, что Сафронов поспешает своей дорогой, потом прянул в арку, откуда понаблюдал, не следит ли кто за ним, ну а затем неспешно, то и дело озираясь, пошел туда, куда ему велел идти Павлик: за угол, к окнам гимназического учителя Файгеля, который жил в этом доме в первом этаже и некогда репетировал Павлика и Киру по немецком языку. Теперь эти окна, конечно, были заколочены – так же, впрочем, как очень многие в этом доме, в том числе во всех в парадных. «Варте ум Файгель. Их верде комен!» значило «Подожди рядом с Файгелем. Я приду!», но открывать истинный смысл этой фразы излишне болтливому и суетливому товарищу Сафронову Дунаев, конечно, не собирался.

\* \* \*

## ВОСПОМИНАНИЯ

В Москву, в Москву! И в Лавру съездить... Она очень любила Троице-Сергиеву лавру, где все было украшено множеством цветов: розами, азалиями, лилиями. Их аромат смешивался с запахом ладана.

В Троице-Сергиеву лавру езживали раз десять, очень почитали преподобных Сергия и Никона. Однако отцу больше нравилось бывать в соборе Василия Блаженного и в Успенском соборе в Кремле. Ах, как помнилась рука отца, творящая крестное знамение, с сапфировым перстнем, надетым рядом с обручальным кольцом! Этот перстень подарила ему мама, когда была еще невестой, и отец его никогда не снимал.

В храм приезжали всей семьей. Подходя к паперти, снимали шляпы и повязывали платочки. Мама была недовольна: ей нравилось, когда дочери ходили в шляпках, но отец настаивал, чтобы в храмы шли в платочках, по-русски.

У Василия Блаженного на паперти толпилось много нищих. Им обязательно подавали. Брат Алеша дарил нищим мальчикам свои игрушки, а все сестры – деньги.

Во время службы родители стояли впереди вместе с братом, а девочки позади. Когда брат был маленький, он тайком приносил в церковь игрушки: спрячет их в карманах и потихоньку перебирает.

Отец любил подпевать хору, а девочки стеснялись. К кресту подходили по старшинству, но среди прочих прихожан. Отец говорил, что перед богом и смертью все равны.

Вообще, где бы семья ни бывала, она постоянно посещала храмы. Все почитали Господа и святых. По-особому относились к оптинским старцам. «Великие были старцы!» – говорил отец. Ездили и к Святогорской иконе божией Матери, были еще в Белобережских пустыньках, к иконам Троеручицы, Корсуньской великой, Печерской. Особенно же почитали Казанскую, Иверскую, Донскую иконы.

Но на первом месте у родителей был святой Серафим Саровский, которого мама просила о даровании ей сына. Однако снова родилась дочь – уже четвертая.

Когда она немного подросла, ей рассказали смешной случай, который произошел во время ее крестин.

Вносить новорожденную в церковь должна была Екатерина Владимировна Голицына. Это было ее почетной обязанностью, к которой она относилась очень серьезно: например, учитывая, что пол в часовне, где крестили всех детей в семье, был очень скользким, она надевала туфли на каучуковой подошве, чтобы, не дай бог, не упасть.

Но смешная история была связана не столько с самой Голицыной, сколько с сестрой. Их у нее было три: госпожа Озерова, госпожа Апраксина и госпожа Бутурлина. Все они одевались в том же стиле, что и их сестра, и носили такие же высокие шляпки. Отец рассказывал, как он направлялся к церкви на крестины дочери, проезжая мимо дома госпожи Голицыной, и вдруг – к своему изумлению и ужасу! – увидел Екатерину Владимировну, сидящую перед своим домом, хотя в это время ей следовало находиться в церкви! Перепугавшись, что произошло какое-то несчастье или недоразумение, отец остановил свой экипаж, выскочил из него, но когда подошел к этой даме, то увидел, что это была другая дама, очень похожая на Голицыну! Одна из ее сестер! Отец сказал ей какую-то любезность, но скрыл, как сильно она его напугала.

Если невозможно было поехать в храм, службы проводили в домовой церкви. В Петербурге приезжал служить отец Иоанн Кронштадтский, одетый в черное, темно-синее или коричневое. У него было прекрасное, и в старости красивое лицо и добрые глаза. Его все любили, постоянно старались прикоснуться к нему, чтобы от него перешла благодать. На Рождество отец Иоанн дарил всем детям гостинцы в холщовых мешочках: постные монастырские конфетки, елочные игрушки в виде святых ангелочков... Иоанн Кронштадтский умер, когда младшей дочери было только семь, но она помнила, какое горе воцарилось в доме, да и во всей столице. Печалились, что умер заступник от злобных революционеров. С тех пор в домовой церкви постоянно читался псалтирь: помнили, что там, где Слово Божие читается день и ночь, – милость и благодать.

Иногда во дворец приходили странники и нищие. Им давали ночлег, еду и деньги на дорогу. Семидесятилетняя матушка Херувима, старшая над монашками, читавшими в домовой церкви молитвы, была женщина высокой жизни: она говорила маме, чтобы принимала божиих людей и подавала нищим.

Дети читали Жития святых, Евангелия, Псалтири, божественные стихи. Известны слова святого Иоанна Златоуста, что никакая книга так не славит бога, как Псалтирь. Если сегодня не смог почитать псалмы – почитай завтра вдвойне. У детей было стихотворное изложение псалмов: переложения, составленные Жуковским и другими благочестивыми поэтами. Закон Божий преподавал священник, читал по-русски и по-церковнославянски.

Молитва присутствовала в доме постоянно: утром и вечером обязательно молились у себя в комнате.

Тогда православие в России было истинное: нигде в других странах так не почитали святых и верили, что бог возлюбил Россию за благочестие.

Потом, когда стало в чести богохульство, Господь Россию покинул, отринул от себя...

Младшая дочь не сомневалась, что это началось, когда в их доме появился Григорий. Мама говорила, что Григорий помогает в больших делах и по его святым молитвам война закончится благополучно, а больной брат будет здоров. Мама постоянно советовалась с ним. Григория встречали как самого дорогого гостя, и к его услугам всегда были карета и автомобиль. Мама многое прощала ему, верила безоглядно, что он блаженный человек, потому что он не раз спасал брата Алешу от кровотечений, когда врачи уже ничего не могли поделать. У младших сестер тоже плохо кровь сворачивалась, бывали сильные кровотечения, но это все ничто было по сравнению с тем, как страдал брат.

Бывало, лежит он в постели, охает. Приедет Григорий, перекрестится, Алешу перекрестит, начнет что-то шептать – и кровь останавливается, боль проходит. Брат веселеет и смеется.

Григорий называл себя блаженным, но младшая дочь его с первой встречи страшно боялась, не могла его терпеть, избегала его. Мама обижалась на нее за это, заставляла писать Григорию письма, называть святым заступником. И сестер заставляла... Что было делать: они писали, а Григорий потом этими письма хвалился. От него одно зло шло!

А девочка убегала и пряталась от него, редко разговаривала с ним. У него была отвратительная физиономия, удивительно, что он кому-то нравился. Мама

ругала ее:

- Непослушная, несносная девочка, все люди уважают его как святого.

Григорий обижался и ворчал:

- Девочка эта чем-нибудь больная, матушка.

Многие преклонялись перед ним, как зачарованные. А младшая дочь видела в Григории изверга, нечистую силу, ведь он сводил с ума кого хотел. Впрочем, многие говорили, что Григорий негодяй и мошенник, – мама все равно не верила, отвечала, что он наш друг, молитвенник и спаситель ее любимого сына. На этом разговор о Григории заканчивался.

Однажды, девочка помнила, вышел ужасный случай. У брата была няня – Мария Вишнякова: красивая двадцатисемилетняя девица. Была она при Алеше долго, года три или четыре, но вот появился Григорий – и она имела несчастье ему понравиться. Девушка в слезах пожаловалась на него маме. Но та ни во что не поверила и рассчитала ее. Мария говорила, что Григорий – это антихрист, просила, чтобы ему не верили. Когда Мария уходила, брат горькими слезами плакал, не хотел со своей няней расставаться.

А Григорий и правда был антихрист, младшая дочь верила в это! Постепенно и все, кроме мамы, поверили, даже брат. Потом, когда Григория убили, его портреты всюду в доме поставили и повесили, как иконы, однако и все сестры, и брат их нарочно роняли и не поднимали. Он, он во всем виноват! В нем вся беда была!

Девочки тайно гордились своим двоюродным дядей Дмитрием Павловичем, который уничтожил это чудовище. Жаль только, что Дмитрия Павловича за это отправили на Кавказ, и мама его ни за что не хотела простить, возненавидела его. Она горько оплакивала Григория. А он и в могиле это, наверное, чувствовал, вот и тянулся из могилы, и над семьей продолжало весть его проклятие: «Вы живы и Россия жива, покуда я жив!»

Он погиб, и Россия погибла... а как же мама, отец, девочки, брат? Неужели младшая дочь осталась одна на всем свете?!

– ...Ната, очнись, – врезался в сознание голос Верховцева. – Мы уже на вокзале. Ты всю дорогу дремала, а теперь пора проснуться и держаться настороже. Приготовься, я только расплачусь с извозчиком, и мы войдем в вагон. Лиза – впереди, ты следом. В разговоры ни с кем не вступай, поняла? Будь осторожна.

– Да, я понимаю, – как во сне, пробормотала Ната. – Все понимаю!

\* \* \*

Телеграфное сообщение исполкома Уралоблсовета

Председателю Совнаркома В. И. Ленину и Председателю ВЦИК Я. М. Свердлову

17 июля 1918 г.

У аппарата президиум областного Совета рабоче-крестьянского правительства. Ввиду приближения неприятеля к Екатеринбург и раскрытия Чрезвычайной комиссией большого белогвардейского заговора, имевшего целью похищение бывшего царя и его семьи. Документы в наших руках. По постановлению президиума областного Совета в ночь на 16 июля расстрелян Николай Романов. Семья его эвакуирована в надежное место. По этому поводу нами выпускается следующее извещение: «Ввиду приближения контрреволюционных банд к красной столице Урала и возможности того, что коронованный палач избежит народного суда (раскрыт заговор белогвардейцев, пытавшихся похитить его и его семью, и найденные компрометирующие документы будут опубликованы), президиум областного Совета, исполняя волю революции, постановил расстрелять бывшего царя Николая Романова в ночь на 16 июля 1918 года. Приговор этот приведен в исполнение. Семья Романова, содержащаяся вместе с ним под стражей, в интересах охраны общественной безопасности эвакуирована из города Екатеринбурга. Президиум областного Совета». Просим ваших санкций на редакцию данного документа. Документы заговора высылаются срочно курьером Совнаркому и ЦИК. Извещения ожидаем у аппарата. Просим дать ответ экстренно. Ждем у аппарата [16 - ГАРФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 35. Л. 8 – 9].

\* \* \*

– Я как раз стоял в прихожей, собираясь выйти в сарайчик за дровами, когда раздался крик Сафронова, – рассказывал Павлик, одной рукой бестолково двигая по столу стакан со спитым чаем, другой держа хлеб с копченым мясом, который Людмила Феликсовна Подгорская называла на английский манер сэндвичем. Составные части сэндвича были добыты из вещмешка Дунаева.

Перед Дунаевым тоже стоял стакан. Подстаканник его был серебряным, с причудливыми вензелями, из прежних времен, а в чае с великим трудом можно было различить прежний цвет и вкус. Впрочем, в столовой Подгорских было темновато, чтобы различать цвета, а что до вкуса, то Дунаев ощущал только вкус горечи, крови и непролитых слез. Есть не хотелось. В ушах шумело, так что слова Павлика доходили до него будто сквозь пелену, однако он встрепенулся, услышав эту фамилию:

– Сафронов? Откуда ты его знаешь?

– Да прижился у нас в доме этот... пролетарий, – деликатно выразился Павлик после мгновенной заминки. – Прислуги сейчас почти ни у кого не осталось: и платить нечем, и каждая матрона может к власти пробиться, если научится ораторствовать на митингах погромче да стыд и жалость в себе искоренит. Появился Сафронов недели три назад: помог дрова порубить или поднес что, я уж запомнил, Верочке покойной, царство ей небесное!

Павлик перехватил недоеденный сэндвич левой рукой и перекрестился. Дунаев неуклюже – отвык! – последовал его примеру. И упало, упало сердце – значит, Верочка и в самом деле умерла, и надежды на то, что рассказ Павлика развеет этот кошмар, нет никакой.

– Потом она стала ему вещи для продажи давать, – продолжал Павлик.

– Я ее душой называла, говорила, что сбежит ее продавец с деньгами вместе, а Сафронов оказался *un homme d'honneur*, – подала голос Людмила Феликсовна Подгорская, сидевшая в кресле в темном углу. Иногда оттуда высовывалась ее сухонькая ручка и утаскивала очередной сэндвич, после чего некоторое время слышалось деликатное жевание, а потом ручка высовывалась снова.

Дунаев в другое время непременно расхохотался бы, услышав, как жуликоватого Сафронова кто-то называет человеком чести. Но сейчас ему было не до смеха. Он только вяло подумал, что уже не меньше года не слышал ни слова по-французски. Как-то не доводилось... Оказывается, остались еще люди, которые без французского обойтись не могут!

– Да, в самом деле, он оказался довольно честным, на наше общее счастье, – подхватил Павлик. – Мы, да и другие жильцы, ему тоже кое-что давали на продажу – конечно, не бесплатно, но он не грабительствовал, большую часть выручки владельцам отдавал. Живет он в бывшей дворницкой. Потапыч – возможно, ты помнишь нашего дворника? – умер, ну вот Сафронов в его каморку и вселился. Теперь, слава богу, и мусор унесен, и двор подметен, а то совсем заросли было в грязи. Еще он где-то служит – работает, как теперь говорят, – да в его дела мы не суемся, главное, что при надобности он всегда тут как тут, совершенно будто Сивка-Бурка, вещая каурка.

Павлик невесело усмехнулся.

– Понятно, – кивнул Дунаев. – Значит, Сафронов закричал. Что именно?

– Да я, собственно, просто вопль его расслышал, да такой испуганный, такой громкий, что выскочил.

– Я тоже выскочила, – прошелестела Людмила Феликсовна.

– Сафронова на площадке уже не было, он бежал вниз, вереща: «Держи, лови!» – это я отчетливо расслышал, – продолжал Павлик. – И я увидел, что дверь Верочкина нараспашку.

– Я решила, что ее ограбили, и тоже закричала, – добавила Людмила Феликсовна.

– Потом слышался женский визг внизу, потом снова Сафронов завопил, потом дверь хлопнула – и стало тихо, – сказал Павлик.

«Это когда она завизжала, я ее пропустил, потом сверху закричали «Держи-лови!» или что-то в этом роде, и я бросился в погоню, – сообразил Дунаев. – Ох...

паршивый гончий пес! Куда помчался с пеной у рта?! А Верочка в эту минуту умирала... если бы я вернулся, я бы ей помог! Я бы спас ее!»

– А вы к Вере не заглянули в квартиру? – угрюмо спросил он.

– Ну как же?! – воскликнули хором мать и сын.

– Позвольте мне, маман, – настойчиво проговорил Павлик. – Разумеется, первым делом мы бросились туда. Какая страшная картина открылась нашим глазам...

– C’était un cauchemar... [17 - Это был кошмар (фр.).] – эхом отозвалась Людмила Феликсовна.

– Я чуть не выронил лампу, – с дрожью в голосе прошептал Павлик. – Верочка лежала навзничь – залитая кровью, которая продолжала струиться из рваной раны на груди. Глаза ее были широко открыты, лицо... такое удивленное... она не верила в свою смерть.

Дунаев резко подался вперед, но Павлик, поняв, о чем он подумал, предвосхитил его вопрос:

– Я искал пульс, я звал Веру, пытался помочь, однако, несомненно, она была мертва. Еще бы, такая рана! Бедная Верочка...

– Бедная Верочка... – подхватило эхо в темном углу.

Дунаев угрюмо смотрел в стол. Поверх скатерти он был застелен убогой клеенкой, которой раньше могло быть место только на кухне, а теперь она оберегала от грязи скатерть – может быть, последнюю, оставшуюся у Подгорских, еще не проданную услужливым Сафроновым. Клеенка выцвела и во многих местах была изрезана ножом.

Нож!

Павлик описывал рваную рану. Сафронов, однако, сказал, что в груди Верочки торчал нож.

– А нож? – спросил Дунаев.

– Какой нож? – удивился Павлик.

– Нож, которым Вера была убита, – нетерпеливо пояснил Дунаев.

Павлик несколько мгновений смотрел на него изумленно, потом оглянулся на темный угол, откуда послышалось:

– Никакого ножа мы не видели.

– Не видели! – подтвердил Павлик. – Но видели манто.

– Какой?[18 - В начале XX века в России это слово употребляли еще в мужском роде, как во французском языке.] – не понял Дунаев. – Верочкин?

– Да нет, не Верочкин, – сказала Людмила Феликсовна и выбралась наконец из своего темного угла.

Она добрела до стола, с мучительной гримасой потирая поясницу и волоча за собой громоздкий и весьма потертый плед. Неловко опустилась на стул, заботливо придвинутый Павликом. Морщинистое личико ее было очень серьезным, ввалившиеся глаза – испуганными.

– Этот манто был не Верочкин. Она вчера показывала нам какое-то жуткое одеяние, которое называла очень весело – малахай. Его она выменяла на свой очаровательный черный манто. Нынче, видите ли, – обстоятельно повествовала Людмила Феликсовна, – моды весьма изменились. Носят, во-первых, то, что у кого сохранилось с лучших времен, а если позволяют себе обновку, то это, прошу извинить за каламбур, самое старое и ветхое старье. Прежним *aristos* порою приходится бегством спасаться от обезумевших *sans-culottes*...

Тут Людмила Феликсовна помедлила, как бы позволяя Дунаеву оценить ее историческую остроту, однако ему было сейчас не до аллюзий более чем вековой давности[19 - Подгорская намекает на события Великой Французской революции конца XVIII века. Началом ее стало взятие Бастилии 14 июля 1789 года, а окончанием считается 9 ноября 1799 года. Беднейшие слои населения,

получившие прозвище санкюлотов (в буквальном переводе «бесштаных»), безжалостно уничтожали представителей аристократии, которых презрительно называли аристо – сокращ. от слова «аристократ».), и госпожа Подгорская, не дождавшись восхищенной реплики, заговорила снова, с едва уловимой ноткой обиды:

– Многие выменивали у прислуги или прочего отребья ношенные, безобразные одеяния на свои прекрасные вещи, только чтобы скрыть свое происхождение. Вот и Верочка завела себе этот малахай. Однако, когда мы увидели ее убитой, она была одета вообще в другой манто, которого я у нее никогда не видала. Серенький. А Верочка, следует сказать, ничего другого, кроме черного, сейчас не носила, ибо была в трауре по бедным господину Инзаеву и Кире, даже малахай выменяла черный, самый простой, а этот манто был с мехом таким, знаете, по воротничку, – Людмила Феликсовна поделала подагрическими кистями затейливые движения вокруг шеи, замотанной в такой же теплый шарф, какой носил и Павлик.

Эта жестикуляция ничего не объяснила Дунаеву, впрочем, он и не слишком старался понять. Вспомнилась безобразная, бесформенная одежда, в которой убегала «убивца» с места преступления. Да, что-то черное, и в самом деле. Название «малахай» здесь как нельзя более кстати.

Что же получается? Какая-то девка убила Верочку, чтобы завладеть этим малахаем? Тоже старалась скрыть свое аристократическое происхождение? Нелепость какая!

Дунаев задумался. Вспомнился не только малахай, вспомнился и черный платок, низко надвинутый на лоб, вспомнились высокие черные ботиночки на шнуровке – в таких раньше ходили гимназистки... Это только казалось, что он бросил на девушку беглый взгляд, когда они столкнулись в дверях, и мало что смог разглядеть во время погони. На самом деле глаза сыщика отметили немало подробностей, которые постепенно всплывали в памяти.

...Рукава малахая были слишком широкие, и там, в дверях, когда Дунаев изумленно смотрел на эти «красные перчатки» на руках девушки, он мельком отметил какой-то блеск на запястье. Золотистый блеск. Теперь он вспомнил золотой браслет, туго обхватывающий тонкое запястье.

Этот браслет принадлежал девушке? Или она украла его у Веры?

Дунаев напряг память, мысленно перечисляя те украшения, в которых видел Веру. Да, она любила браслеты, но они не обхватывали ее запястья, а болтались на них – круглые, в виде колец. Конечно, Дунаев не знал всех ее украшений, но...

– Я знаете, что подумала? – таинственно проговорила вдруг Людмила Феликсовна, перебив течение его мыслей. – Что, если Верочка и эта... особа... обменялись одеждой, а потом она Верочку убила?

– Да зачем ей понадобился этот уродливый малахай?! – с досадой воскликнул Павлик.

– А Верочке зачем? – вопросом на вопрос ответила Людмила Феликсовна. – Возможно, эта особа тоже хотела скрыть son origine![20 - Свое происхождение (фр.).]

– Ладно, хотела скрыть, – покладисто кивнул Павлик. – А Верочку убивать для чего понадобилось?!

– Возможно, эта особа не только son origine хотела скрыть, но и еще какую-то тайну! – с загадочным выражением произнесла Людмила Феликсовна.

– Маман! – воскликнул Павлик, раздраженно махнув рукой. – Только давайте не разводите тут невесть каких тайн мадридского двора! Погиб не чужой нам человек, а вы голову морочите намеками. Если что-то знаете, говорите прямо, а не разыгрывайте любительских спектаклей!

Людмила Феликсовна обмякла на стуле, закрыла лицо руками:

– Tu est un grossier[21 - Ты грубиян (фр.)], Павлик... Боже мой, что за времена... что они делают с людьми... – Голос ее звучал глухо, скорбно, как вдруг она отняла ладони от лица и воскликнула мелодраматически: – Если сын позволяет себе так разговаривать с матерью, то Верочку вполне могла убить ее подруга!

– Какая подруга?! – Дунаев вскочил так резко, что с грохотом уронил стул.

Подгорские разом вздрогнули так, словно у них над ухом выстрелили из револьвера.

– Маман, да ерунда это... – буркнул Павлик, немного успокоившись. – Это ведь был только сон...

– Ну и что? – воинственно подалась к нему мать. – Ты сам слышал, как Верочка рассказывала: ей приснилось, будто ее убьет son amie preferee[22 - Ее лучшая подруга (фр.)]. Зарежет! И что произошло на самом деле?!

– Во-первых, мы не знаем, лучшая ли это была подруга, да и подруга ли вообще... – начал было Павлик, но мать сердито перебила его:

– Это вполне возможно! Я теперь вспомнила, что уже видела однажды эту девушку – здесь, в нашем доме, причем вместе с Верой. И в том самом сером манто! С таким мехом на воротнике... – И Людмила Феликсовна снова проделала какие-то странные пассы руками около шеи. – Видела два или три раза в последнее время!

– Вы это прямо сейчас вспомнили? – не без иронии спросил Павлик. – Прямо вот сейчас? А раньше, когда мы увидели это проклятое пальто на Вере, где были ваши воспоминания?

– Не исключено, что я именно тогда и вспомнила, – с достоинством сообщила Людмила Феликсовна. – Но была настолько потрясена, что не смогла сразу joindre les deux bouts[23 - Связать концы с концами (фр.)]. Кроме того, тебе же вообще ничего нельзя сказать, чтобы не быть жестоко высмеянной. Ты меня сумасшедшей считаешь, я знаю! – И она всхлипнула.

– Pas du tout, maman! Pas du tout![24 - Вовсе нет, матушка! Вовсе нет! (фр.)] – прошептал Павлик с покаянным выражением.

– Считаешь, считаешь! – плаксиво воскликнула Людмила Феликсовна, и Дунаев понял, что настала пора ему вмешаться, иначе разговор, в котором только начал появляться какой-то смысл, плавно перетечет с семейную свару, и неизвестно, удастся ли ее прекратить.

– Arr?tez! – хлопнул он по столу ладонью, машинально и сам перейдя на французский. – Прекратите! Je vous prie de m’excuser[25 - Прошу прощения (фр.).], но я за Людмилу Феликсовну заступаюсь. По прежней своей службе я отлично знаю, что глаз свидетеля преступления иногда буквально фотографирует какие-то подробности, однако потрясенный мозг не дает им возможности оформиться, осознаться, и требуется некоторое время, чтобы свидетель пришел в себя и смог эти подробности вспомнить и описать.

Он нарочно говорил так обстоятельно, даже казенно, чтобы дать Людмиле Феликсовне успокоиться и собраться с мыслями, однако у нее вдруг сделалось испуганное лицо, как, впрочем, и у Павлика.

– Ка... какая служба? – проямлил он.

– До февраля семнадцатого я служил судебным следователем, – напомнил Дунаев.

– Ах да! – всплеснула руками Людмила Феликсовна, а Павлик нахмурился и задумчиво проговорил:

– Тогда... тогда, может быть, ты поймешь, что это значит?

Он выскочил из-за стола, бросился в другую комнату, но почти тотчас вернулся и бросил на стол нарядную коробочку.

Дунаев посмотрел. В коробочке оказалась карточная колода.

\* \* \*

«Рост контрреволюционного движения оренбургского казачества и бунт чехословацких эшелонов, использованных в целях контрреволюции, создал угрозу падения Екатеринбурга, а особенно в связи с приближением фронта и активной работы местных контрреволюционных сил.

На заседаниях Областного Совета вопрос о расстреле Романовых ставился еще в конце июня. Входившие в состав Совета эсеры – Хотимский, Сакович и другие были, по обыкновению, бесконечно «левыми» и настаивали на скорейшем

расстреле Романовых, обвиняя большевиков в непоследовательности. Вопрос о расстреле Николая Романова и всех бывших с ним принципиально был разрешен в первых числах июля.

Организовать расстрел и назначить день поручено было президиуму Совета.

Приговор был приведен в ночь с 16 на 17 июля.

В заседании президиума ВЦИК, состоявшемся 18 июля, председатель Я. М. Свердлов сообщил о расстреле бывшего царя.

Президиум ВЦИК, обсудив все обстоятельства, заставившие Уральский Областной Совет принять решение о расстреле Романова, постановление Уралсовета признал правильным[26 - Из воспоминаний П. М. Быкова, председателя Екатеринбургского уездного городского Совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов.].

\* \* \*

На счастье, Петр Константинович сразу отыскал своего знакомого кондуктора. Сейчас все решалось при помощи денег! Получив щедрую мзду, кондуктор провел Верховцева, Елизавету Ивановну и Нату в самый последний вагон и, пошептавшись с проводником, простился.

Все трое несколько минут постояли, недоверчиво глядя на другие вагоны, которые брали с бою, по принципу «Кто смел, тот и сел». Войти же сюда разрешалось только по билетам или заплатив такую сумму, которую выложил Верховцев. И Верховцев подумал, что знакомый, желая отблагодарить его за щедрость, на самом деле оказал ему плохую услугу.

Он вспомнил, как вез Нату от Перми до Петрограда, снабженный всеми многочисленными бумагами со всеми печатями всех советских организаций. Огромную помощь в их получении оказал тогда Горький, у которого были превосходные отношения с всесильным Зиновьевым[27 - Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936) – профессиональный революционер, видный партийный и государственный деятель советской эпохи. В описываемое время был председателем Совнаркома Союза коммун Северной

области (май 1918 – февраль 1919) и председателем Комитета революционной обороны Петрограда, обладая всей полнотой власти.], председателем Комитета революционной обороны Петрограда. Но «Буревестник революции», который был настолько же простодушен, насколько хитер, и настолько же сентиментален, насколько жесток, а главное, по мере сил своих творил добро, даже если это было связано с освобождением политзаключенных или с прямым обращением к Ленину, разумеется, и предположить не мог, для кого нужны бумаги: он простодушно поверил, что Петр Константинович Верховцев, обратившийся к нему по протекции добрых знакомых писателя, пытается спасти свою дочь от первого брака, которая застряла в Перми после смерти матери и которую он хотел бы забрать в свою новую семью. На самом деле первая жена Петра Константиновича и их дочь погибли год назад, в октябре семнадцатого, в случайно вспыхнувшей уличной перестрелке. Но Верховцев в такие подробности никого не посвящал.

Петр Константинович, конечно, понимал, какая нечеловечески трудная задача ему предстоит! Дело было даже не в том, что Ната (он с самого начала даже мысленно называл эту девушку именем своей дочери, чтобы, не дай бог, не ошибиться при разговоре) привыкла к совершенно другому способу передвижения. Все-таки время, прошедшее с марта 1917 года, ко многому приучило ее и всю ее семью, и первое потрясение от падения с той высоты, на которой они находились раньше, в самые что ни на есть бездны преисподние, должно было уже несколько притупиться. Беда состояла в том, что Ната впервые в жизни совершенно оторвалась от семьи! Хотя за последний год их всех и окружали почти сплошь враждебно настроенные люди, все же дети и родители могли находить поддержку друг в друге, в родственной любви. Теперь же Ната оказалась в переполненном вагоне (из-за опоздания поезда народу набилось столько, что всякое понятие о плацкарте пришлось забыть: с великим трудом удалось найти свободную верхнюю полку!), окруженная только теми, в ком она видела врагов – ненавистных и кровожадных врагов. Петр Константинович видел ее затравленные глаза, видел искусанные губы, ощущал, как тряслась ее рука, накрепко стиснутая его пальцами, и понимал, что она совершает буквально сверхчеловеческие усилия, чтобы не впасть в истерику. Сдерживал Нату только страх, что она будет узнана и немедленно растерзана этой кошмарной толпой. На счастье, люди не присматривались друг к другу: так было душно, тесно, шумно, мучительно! Верховцев заставил Нату забраться на полку и отвернуться к стене. Он кое-как притулился на откидном сиденье, а Ната так и провела почти всю дорогу, сжавшись в комочек наверху, спускаясь лишь изредка и по самой крайне необходимости.

Потом, в Петрограде, благодаря заботам Верховцева и его жены Ната понемногу пришла в себя, более того – научилась как бы отстранять от себя окружающий кошмар. Молодость и присущая от природы беспечность нрава – она всегда была самой веселой и беззаботной в семье, умела во всем найти что-то забавное и не только посмеяться сама, но и рассмешить других, – постепенно врачевали ее душу. К тому же она встретила с Верой Инзаевой – человеком из своего счастливого прошлого.

Вера тоже была беспечна и беззаботна, она умела смиряться с ударами судьбы и приспособливаться к той жизни, которая воцарилась вокруг. Никогда не бывши особенно религиозной, она, однако, научилась видеть божественное произволение во всем случившемся с Россией и любила повторять, что Господь дает своим созданиям пережить ужасные горести, прежде чем открыть перед ними путь к наивысшему счастью. И хоть Ната, так же, как и сам Верховцев, была убеждена, что Господь навсегда отвернулся от России, в которой его забыли и унизили (более того, Петр Константинович не сомневался, что «наивысшее счастье» ждет несчастных его соотечественников только за гробом... хотя, конечно, благоразумно помалкивал об этом), она все же обретала при встречах с Верочкой бодрость и надежду на лучшее. Кроме того, они вместе вспоминали прошлое, сестер Наты, с которыми дружила Вера Инзаева, беспрестанно говорили о них – говорили как о живых, мечтали о скорой встрече, – и Ната преисполнялась надежды, что с ними все хорошо, они спаслись, а если не подадут о себе вестей, то лишь потому, что время для этого еще не настало. Именно поэтому Петр Константинович и позволял им встречаться, зная, что Вера никогда и ни за что не выдаст Нату и не предаст ее. Но страшная смерть подруги (сейчас не время было расспрашивать Нату о подробностях и пытаться делать какие-то выводы) снова превратила девушку в то же перепуганное, потерянное существо, какое увидел Верховцев при первой встрече в Перми. Тогда ее мог заставить сдерживаться только страх, жуткий страх разоблачения, – вот и сейчас она должна была испугаться окружающей, стискивающей ее со всех сторон толпы, сжаться, скрыться в своей скорлупе, замкнуться наглухо... Лучше бы им было ехать в общем вагоне, в мучительной давке, которая странным образом словно бы смыкала вокруг них защитное пространство. А здесь, в этом разделенном на открытые отсеки вагоне, было относительно просторно, все друг у друга на виду, да к тому же в каждом отсеке покачивалась под потолком лампа, то вырывая из темноты лица сидящих, то вновь погружая их в мрак...

Верховцевым на троих досталось два боковых места: верхнее и нижнее. Нате, как несовершеннолетней иждивенке (теперь так называли неработающих

членов семьи), отдельного билета не полагалось. Ее немедленно отправили на верхнюю полку с приказанием отвернуться к стене и постараться снова уснуть. Елизавета Ивановна положила ей под прихваченную из дому подушечку еще и мешочек, набитый валерианой. Это незамысловатое средство помогало Нате спокойно засыпать на первых порах, пока она еще не приспособилась к жизни в Петрограде, и Елизавета Ивановна надеялась, что поможет и сейчас. Затем они с Петром Константиновичем сели на нижнюю полку и вытянули было усталые ноги, однако их сразу пришлось поджать: пассажирам отчего-то не сиделось, они мотались туда-сюда, бегали в уборную, заглядывали в соседние отсеки, искали знакомых...

Наконец поезд тронулся, в проходе стало свободно, все разбрелись по местам, однако Верховцевы продолжали оставаться в напряжении, потому что трое мужчин и женщина, занимавшие отсек напротив, выставили на стол еду и бутылку самогона. Это могло затянуться надолго, и невесть чего следовало ожидать от перепивших «товарищей» потом. Однако, против ожидания, торопливо выпив по кружке самогона и закусив хлебом с салом, соседи начали готовиться ко сну. У каждого из них была своя отдельная полка, что свидетельствовало о том, что эти люди имеют при новой власти некие привилегии, хоть и не настолько значительные, чтобы попасть в спальный вагон.

Петр Константинович исподтишка наблюдал за ними, от души надеясь, что теперь они быстро уgomонятся и тогда им с Лизой тоже можно будет расслабиться и хоть немного передохнуть. Ложиться решили поочередно: один дремлет, второй бодрствует, сидя в уголке, чтобы следить за происходящим.

Соседи, одетые просто, но добротнo, привыкли к переездам и долгим перегонам, это сразу было видно: у каждого имелся набитый вещами дорожный мешок. Эти же мешки служили им изголовьями. Однако у женщины, которая была среди них, оказались в отдельном мешке еще и две подушки.

– Неплохо было бы, товарищ Голубева, – искательно проговорил один из мужчин, – если бы вы дали нам с товарищем Григорьевым, – он указал на сидевшего рядом мужчину, – хоть одну подушку.

– Перебьешься, товарищ Логинов, – грубо отозвалась Голубева. – Нас с мужем тоже двое! Каждому по подушке!

– Ну, коли Селезнев тебе и впрямь муж, – отозвался человек по фамилии Григорьев, – то муж и жена вполне могут и на одной подушке выспаться. Оставьте себе ту, что побольше, а нам с Логиновым и поменьше сгодится!

– На одной подушке мы с Селезневым спать не можем, – ответила Голубева. У нее был зычный голос, да еще она старалась перекричать стук колес, поэтому Верховцев отлично слышал каждое ее слово. – Первое дело, он в башке скребет почем зря и спать мне не даст, а второе, что вот эта вещь, – она любовно похлопала ту подушку, что поменьше, – не простая, а историческая.

– Это как же понимать прикажете? – удивился Логинов.

– А так, – заявила Голубева, – что мне эту подушку дал Голощекин и она из числа других вещей, принадлежащих царской семье.

Верховцев замер и ощутил, как рядом буквально окаменела Лиза.

– Взгляни, как она, – еле шевеля губами, прошептал Верховцев, и Лиза, с явным трудом преодолев оцепенение, поднялась и посмотрела на Нату.

Потом она села и чуть слышно выдохнула:

– Кажется, спит.

Верховцев с облегчением кивнул, однако в следующий миг их с Лизой словно бы молнией прошило от хвастливых слов Голубевой:

– Что так смотришь, товарищ Григорьев? Не веришь? Возьми да посмотри: там, под верхней наволокой, и вензель есть. А еще мне Голощекин царские ботинки дал!

– Да ладно врать! – хмыкнул Григорьев, и тогда Голубева проворно развязала веревку, стягивающую горловину ее мешка, и вынула серый ботинок на пуговицах.

– Шевро, – похвасталась она, щупая кожу. – Или хром!

– Дай гляну, – попросил Логинов.

– Не для твоих невытых рук, – ухмыльнулась Голубева. – Небось эти башмаки сама императрица нашивала!

– Ври больше, – отмахнулся обиженный Григорьев. – Мужской башмак-то! Не меньше девятого размера калош!

– Да императрица какая долговязая была! – возразила Голубева. – И ножищи, как у утки! Неужто я ее не видела и в Екатеринбурге, и в Перми? Настасья, младшая, та, которая в бега в Перми вдарилась, она, конечно, низенькая росточком была, с ножками маленькими, а Шурка – она дылда германская, доска плоская!

Верховцев сейчас вполне понимал, что значит выражение «ни жив ни мертв». Много пережил он с тех пор, как в России воцарился безумный февраль 17-го, а потом грянул кровавый Октябрь, но, казалось, не было у него минуты страшнее.

Что, если Ната сейчас проснется и все это услышит? Что, если она повернет голову и увидит эти вещи... так хорошо знакомые ей вещи?!

Лиза впиалась ногтями в его руку, и он понял, что жена напугана до смерти. перевел дыхание, погладил ее пальцы, разжал их, потом встал и всмотрелся в бледный профиль Наты, хорошо видный на фоне расшитой цветами ковровой подушки.

Ресницы неподвижны, дыхание ровное, тихое – похоже, и впрямь спит и ничего не слышит.

Петр Константинович сел, зажимая ладонью сердце. Лиза тоже крепко прижимала руку к груди. Переглянувшись, они разом опустили руки на колени, опасаясь, что выдают соседям свое потрясение.

Лиза положила голову на плечо мужа. Петр Константинович обнял ее и едва слышно шепнул:

– Закрой глаза. Не смотри на них.

Он тоже зажмурился, сделав вид, что задремал, а на самом деле весь обратившись в слух.

К счастью, соседи не обращали на них никакого внимания – пререкались.

Григорьев сказал угрожающе:

– Ты бы, товарищ Голубева, лучше держала язык за зубами – насчет Перми-то! Какая была дана установка? В Екатеринбурге с ними со всеми покончено! А ты молотишь языком, ровно мельница жерновами!

– Ты, товарищ Григорьев, свою бабу займай и учи, – заступился Селезнев. – В Перми мы с женой вместе были и что видели, то видели! Установка установкой, а у нас глаза есть!

– Слышь-ка, Селезнев, – перебил его Логинов, – а они, – это слово было произнесено с особым значением, – где в Перми жили?

Вместо мужа ответила Голубева, которую спиртное заставило совершенно забыть об осторожности, а потому каждое ее слово отчетливо было слышно Верховцевым:

– Сначала их держали в доме Акцизного управления под менее строгим надзором, а потом, когда младшая бежать попыталась, перевели в подвал дома Берзина и там уже приставили самый строгий караул. Туда заходила Аня Костина, секретарь товарища Зиновьева[28 - Исторический факт, подтвержденный документально. См., напр., «Гибель царской семьи», сборник документов, составитель Н. Росс, Париж, «Посев», 1987.]. Она в Пермь приехала к своему другу, Володьке Мутных, вот он ее и сестру свою Наталью и провел в подвал Берзина. Аня мне сама рассказывала. И она видела там Шурку с тремя ее девками!

– Их же четыре было, – возразил Григорьев. – Девочек-то!

– Ну так одну за Нижней Курьей поймали и повели ноги сушить, – ухмыльнулась Голубева. – А потом остальных расстреляли в том же подвале, где держали, потому что беляки их отбить хотели. Беляков тоже поймали и к стенке

поставили!

Кровь гудела в ушах, а Верховцеву чудилось, что это он слышит гул погребального колокола.

Петр Константинович крепче обнял жену, изо всех сил надеясь, что она не открывает глаза и ничем не выдает тот ужас, из-за которого все ее тело пронизывала дрожь.

«Повели ноги сушить... А потом остальных расстреляли в том же подвале...  
Беяков тоже поймали и к стенке поставили...»

## ВОСПОМИНАНИЯ

Наплывали воспоминания о доме – такие чудесные, успокаивающие...

Вот мамина спальня – вся розовая, стены обтянуты шелковыми обоями, и мебель розового цвета, и деревянная резная кровать. Будуар – сиреневый. Детская комната – желтенькая.

Почти в каждой комнате стояли часы и миниатюрные граммофоны, чтобы слушать пластинки. Зеркал было немного – отец не любил их. Рядом с его кабинетом была комната радио, где можно было услышать и голоса, и музыку – даже из заграницы. Отец говорил, что у радио большое будущее, и у синема? – тоже.

Конечно, в доме были слуги, но не так уж много, как об этом болтали. Отец говорил, что чем меньше людей, тем больше порядка, он даже третью экономку не разрешал иметь. Все на маминых плечах держалось! Помогала ей кастелянша Ирина Григорьевна, она заведовала бельем, и две экономки: Берта Генриховна и Елизавета Николаевна.

Горничных для девушек по настоянию мамы брали только из деревни: городские, говорила она, уже испорчены, такие нам не нужны. Выходя замуж, эти девушки рекомендовали других вместо себя и приводили их. Старшим сестрам прислуживала Дуняша, и вот она, собираясь замуж, привела Оленьку, – чтобы взяли в горничные вместо нее. Она была истинная красавица писаная!

Мама, впрочем, Оленьке отказала. Тогда Дуняша привела другую девушку, лицо которой было немножко испорчено оспой, и ее приняли. Когда отец спросил, отчего девушку не приняли, мама с горячностью сказала, что это нельзя, ибо ее дочери не такие красавицы. Сестры тогда не знали, то ли на маму обижаться, что красавицами их не считает, то ли смеяться.

Подумали-подумали и решили посмеяться. Они знали, что их можно назвать только хорошенькими, но никак не красавицами. Только Маша была необычайно хороша собой с этими своими огромными голубыми глазищами...

Боже мой, живы ли они?! Что с ними? Удалось ли им спастись, как удалось младшей сестре?..

К светлым, радостным воспоминаниям вернуться больше не удалось. Наоборот – вспомнилось страшное, страшное...

Случилось это в ночь с 18 на 19 сентября 1911 года. Вся семья была тогда в Киеве, и 18-го отец взял девочек на «Сказку о царе Салтане», которую давали в Городском театре. В тот день был смертельно ранен премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин. Отец очень любил его и называл великим человеком, и вот он упал – упал, окровавленный на глазах у отца, у сестер, у десятков людей, прошептав: «Счастлив умереть за царя!»

Это было невозможно видеть, невозможно перенести! Домой девочек привезли чуть живых от ужаса. И в ту ночь младшая дочь, которой с трудом удалось успокоиться, которая засыпала в слезах, увидела сон – страшный сон!

Снилось ей, будто стоит она в каком-то большом белом зале. Округлые колонны и граненые пилястры с капителями подпирают потолок, Зал ярко освещен – горят все огромные люстры. Присмотревшись, она узнает зал: это в Смольном институте благородных девиц, куда они всей семьей были недавно приглашены на торжественную церемонию. Внезапно входная дверь распахнулась, и в зал, как стихия, хлынула толпа. Солдаты в неряшливых, грязных шинелях и в косматых папахах, какие-то вооруженные люди с красными повязками на рукавах, матросы, опоясанные патронташами, женщины с лицами фурий... Девочка видела разинутые рты, обезумевшие глаза... все эти люди жестикулировали, кричали, но шум их голосов доносился до нее смутно, как бы сквозь вату.

Центром всего этого человеческого водоворота был человек, стоявший на возвышении. У него была самая заурядная наружность: небольшого роста, плешивый, с бороденкой клинышком, с монгольским разрезом глаз и слегка выдающимися скулами. Он потрясал рукой, он звал толпу за собой... куда? Видно было, что не на доброе дело, ибо девочке почудилась в нем та же дьявольская одержимость, какая была в Григории. Но после каждой его фразы толпа ревом выражала свой восторг и простирала к нему руки. И младшая сестра с ужасом увидела, что из каждой руки, из каждого рта сочится кровь, затопляя все вокруг.

Она испуганно огляделась, отыскивая путь к спасению, и увидела всю свою семью. Отец с Алешей на руках, мама и сестры стояли в стороне с отрешенными, безучастными лицами. Кровь, источаемая страшными людьми, подбиралась к ним, поднималась все выше, заливая их, но они не делали никаких попыток спастись. И вот кровавые волны накрыли сначала отца с Алешей, а потом захлестнули и остальных.

Девочка обнаружила, что и она вот-вот потонет в крови. Ее раздирали два желания: бороться, попытаться выплыть – и покориться судьбе, чтобы соединиться с родными людьми хотя бы на том свете. Она готова была сдаться, но жажда жизни оказалась сильнее. Почти против воли она задвигалась, рванулась куда-то... к жизни! – и проснулась с безумным криком.

Она была в спальне, в том доме, где семья остановилась в Киеве! Она была жива!

Сестра Маша – тоже живая! – тормошила ее, умоляя проснуться, перестать кричать.

Стало ясно, что это был только сон. Теперь можно было перестать бояться, но она не могла перестать, не могла! Бросилась к кивоту[29 - Шкафчик или застекленная полочка для икон.], висевшему в углу, рухнула на колени и принялась молиться. Сестре сказала только, что приснилось страшное, а что – не помнит. И упросила не говорить никому об этом случае, чтобы родителей не волновать.

Спустя четыре дня Петр Аркадьевич Столыпин умер. Девочка тогда убедила себя, что сон этот снился к его смерти. Но шесть лет спустя, в марте 1917-го, запертая вместе с семьей в Царском Селе, увидела в газете (вообще-то газеты

сестрам не давали, однако ей случайно попался этот выпуск) портрет человека, который приехал из Германии в plombированном вагоне и грозит России еще одной революцией. И узнала того, кто в ее сне звал людей к кровопролитию. А потом, уже в Тобольске, услышала, что штабом этих страшных людей под названием «большевики» стал Смольный! И с тех пор она постоянно готовила себя к смерти.

Но случилось так, что она осталась жива, а другие-то?! А ее семья?!

\* \* \*

«Выписка из протокола № 1 заседания Президиума ВЦИК по поводу расстрела Николая II

18 июля 1918 г.

Слушали: Сообщение об расстреле Николая Романова. (Телеграмма из Екатеринбурга.)

Постановили: По обсуждении принимается следующая резолюция: ВЦИК, в лице своего президиума, признает решение Уральского областного Совета правильным. Поручить тт. Свердлову, Сосновскому и Аванесову составить соответствующее извещение для печати. Опубликовать об имеющихся в ЦИК документах (дневник, письма и т. п.) бывшего царя Николая Романова. Поручить тов. Свердлову составить особую комиссию для разбора этих бумаг и их публикации.

Председатель ВЦИК

Секретарь ВЦИК В. Аванесов

Помета: «т. Свердлову»[30 - ГАРФ. Оп, 2. Д. 35. Л. 14.].

\* \* \*

Дунаев взял коробочку со стола, рассмотрел. Это были памятные карты, выпущенные Александровской мануфактурой в 1913 году к трехсотлетию дома Романовых.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Помни о смерти! (лат.) Здесь и далее примеч. авт.

2

Из воспоминаний А.Ф. Керенского, министра-председателя Временного правительства России в 1917 г.

3

Один из юридических обычаев Древнего Рима, источник римского права.

4

Так назывался Таллинн до 1919 года.

5

Имеются в виду ремесленницы времен Французской революции, которые с вязанием в руках (они вязали на продажу чулки или шали) присутствовали в качестве зрительниц на заседаниях Конвента, Революционного трибунала и на казнях, ввязывая в свое рукоделье волосы жертв или пропитывая изделия их кровью. Отличались непримиримой жесткостью и часто оказывали влияние на судей, угрожая им расправой.

6

Так в описываемое время назывался церебральный паралич.

7

Никогда (англ.). Дунаеву вспоминается стихотворение Эдгара По «Ворон», в котором повторяется фраза: «Quoth the Raven «Nevermore»!» - «Каркнул Ворон: «Никогда!»»

8

Уральская область – объединение Советов рабочих и солдатских депутатов и Советов крестьянских депутатов, существовавшее в Российской республике и в Советской России с мая 1917-го по январь 1919 г.

9

Из воспоминаний М. А. Медведева (Кудрина).

10

Здесь и далее стихотворение Л. Рельштаба «Serenade» дается в переводе Н. П. Огарева.

11

«Тихо молит моя песня тебя ночью; в тихую рощу ко мне приди, любимая!» (нем.). На стихи поэта Людвиг Рельштаба написан романс Франца Шуберта «St?ndchen» (или «Serenada»), но в России он более известен с поэтическим переводом Николая Огарева «Ночная серенада»: «Песнь моя летит с мольбою Тихо в час ночной. В рощу легкою стопою Ты приди, друг мой!»

12

Газета «Новое слово», № 49 от 20 июня 1918 г.

13

Названа эта улица была так потому, что на ней начиная с 1740 года строились казармы и дома для жительства гвардейцев Измайловского полка. Теперь называется 1-я Красноармейская улица.

14

Обмотки, онучи – в старинной русской обуви полосы холщовой ткани, которыми обматывали ногу от лаптя или, в военное время, ботинка до колена, создавая некое подобие сапога и защищая икры. Обмотки были в составе армейского обмундирования еще в начале Великой Отечественной войны.

15

В описываемое время слово «фильм» произносилось чаще всего так и имело форму женского рода – очевидно, по аналогии со словом «синема» (ударение на «а»), хотя слово *cinema* во французском языке как раз мужского рода. Постепенно ударение в слове «фильма» перешло на «и», а потом окончание «а» вовсе исчезло и слово приобрело современную форму.

16

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 35. Л. 8 – 9.

17

Это был кошмар (фр.).

18

В начале XX века в России это слово употребляли еще в мужском роде, как во французском языке.

19

Подгорская намекает на события Великой Французской революции конца XVIII века. Началом ее стало взятие Бастилии 14 июля 1789 года, а окончанием считается 9 ноября 1799 года. Беднейшие слои населения, получившие прозвище санкюлотов (в буквальном переводе «бесштаных»), безжалостно уничтожали представителей аристократии, которых презрительно называли аристо – сокращ. от слова «аристократ».

20

Свое происхождение (фр.).

21

Ты грубиян (фр.).

22

Ее лучшая подруга (фр.).

23

Связать концы с концами (фр.).

24

Вовсе нет, матушка! Вовсе нет! (фр.).

25

Прошу прощения (фр.).

26

Из воспоминаний П. М. Быкова, председателя Екатеринбургского уездного городского Совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов.

27

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936) – профессиональный революционер, видный партийный и государственный деятель советской эпохи.

В описываемое время был председателем Совнаркома Союза коммун Северной области (май 1918 – февраль 1919) и председателем Комитета революционной обороны Петрограда, обладая всей полнотой власти.

28

Исторический факт, подтвержденный документально. См., напр., «Гибель царской семьи», сборник документов, составитель Н. Росс, Париж, «Посев», 1987.

29

Шкафчик или застекленная полочка для икон.

30

ГАРФ. Оп, 2. Д. 35. Л. 14.

----

Купить: <https://tellnovel.com/elena-arseneva/tayna-mertvoy-carevny>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)